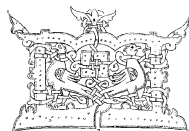


Сергей Шелковый



ДВАНАДЕСЯТЬ

*поэтические
переводы*

Харьков
«Майдан»
2014

ББК 84(4Рос)
Ш 43

Художественное оформление автора

*Использованы фрагменты «Мирославова Евангелия»
(Сербия, XII век)*

Шелковый С. К.

Ш 43 Дванадесять: Поэтические переводы. — Харьков:
Майдан, 2014. — 208 с.
ISBN 978-966-372-528-4.

«Дванадесять» — книга поэтических переводов с двенадцати славянских языков на русский. В первой главе представлены двадцать два украинских поэта XX века, вторая глава включает в себя переводы с белорусского, болгарского, боснийского, македонского, польского, сербского, словацкого, словенского, хорватского, черногорского, чешского языков. Завершают книгу авторские очерки о литературе славянских языков, о взаимодействии родственных культурных пространств.

ББК 84(4Рос)

АПОСТОЛЬСКОЕ ЧИСЛО

«Двана**д**есять» — книга поэтических переводов с двенадцати славянских языков на русский. Стихи сорока шести поэтов из двенадцати славянских стран я переводил более года, обращаясь к этой работе едва ли не каждый Божий день и несомненно ощущая в себе при этом некую внутреннюю потребность уже постоянной, вдумчивой и истовой, беседы со своими собратьями-поэтами. Пусть даже, зачастую, эти беседы проходили, в силу реального положения вещей, на немалом временном и пространственном отдалении.

Современное сообщество славянских культур охватывает сегодня более трёхсот миллионов людей, наследников уже более чем тысячелетнего общеславянского духовного взаимодействия. Взаимодействуют и взаимообогащаются люди, идеи, языки, произведения литературы и культуры в целом. Об этом длящемся и имеющем глубинные корни человеческом и творческом взаимном притяжении мне хотелось напомнить ещё раз нынешней своей книгой переводов с символическим, на мой взгляд, названием «Двана**д**есять».

Пожалуй, сейчас, когда я пишу эту вводную статью к уже завершённой книге, у меня есть ощущение, что те двести с небольшим переводов из «Двана**д**есять», в которые я стремился вложить и свою душу, и свой более чем полувековой опыт писательства и стихотворчества, могут влиться теперь с неподдельным сыновним чувством, с чувством благодарного и благодарного притяжения, в значительную и дорогую для меня общность славянских культур. В нечто большее и значительное, что может быть названо духовным лоном. В нечто не только метафизическое, условное, историческое, но живое и плодоносное, дарящее дополнительные надежды.

В первом разделе «С печалью радость обнялась...» я поместил переводы из двадцати двух украинских поэтов двадцатого

века. Некоторые из них продолжают свою поэтическую работу и сегодня, после смены столетия и миллениума. Но биографии большинства из выбранных мной для этой книги поэтов отражают драматическую, и часто полную жестокого трагизма, историю Украины минувшего века. Достаточно привести лишь нескольких цитат, не оставляющих места равнодушию:

Он разрывал быков руками,
Проглатывал овец стада,
Младенцев пожирал с костями
Живьём — без страха и стыда.

Всё съел. А тех, кто попытались
Бежать, догнал в горах, в лесах,
И всех, кто в муках мук распялись,
Сожрал, голодный, на крестах... —

это строки из Олександра Олеся о Голодоморе 1932—1933-го годов на Украине.

А вот строчки из стихотворения Василя Симоненко о третьем по счёту украинском голоде проклятого минувшего века, о голоде 1947-го года (к слову, того самого года, в котором довелось появиться на свет и мне самому):

И люди, так же мертвенно, как птицы,
шли с дедовскими косами на лан.
И опускали сокрушённо лица,
чтоб, зубы стиснув, «обеспечить план».

И плакали вдовицы, дети «хлеба!»
кричали над бурдой из желудей.
И, словно бы уже бесплотно, в небо
скелеты шли, герои трудодней...

Большая часть украинских поэтов начала XX века, наиболее талантливые представители плеяды «украинского возрождения» двадцатых годов, были уничтожены людоедским режимом большевиков в тридцатые годы. Так же, как были целенаправ-

ленно уничтожены и многие другие выдающиеся личности из круга национальной интеллигенции. Из представленных в этой книге украинских поэтов в долгий список имён «расстрелянного возрождения» вписаны зловещим безвременьем: Микола Зеров, Евгений Плужник, Михайло Драй-Хмара, Павло Филипович, Михайль Семенко, Владимир Свидзинский. Вынуждены были долгие годы оставаться в эмиграции и окончить жизнь на чужбине Олександр Олесь и Евгений Маланюк.

Прошли долгие испытания адом большевистских лагерей Василь Мысык и Василь Боровой. О своём аресте, ещё в юношеском возрасте, о смертном приговоре, заменённом рабством ледяной каторги, вспоминает живой, слава Богу, и ныне, сегодня почти уже 91-летний поэт-тираноборец Василь Боровой:

Судилище в подвале. Полутьма.
В крестах решёток, ёжится тюрьма.
Судья Рогожкин, жилистый, горбатый,
пилой скрежещет, ржавой и щербатой,
скрипя-читая. А ведь надо, чтоб
гром-приговор взрывал темницы гроб.

Но вот скрипит горбун: «За оскорбленье
Отца народов, за стихотворенья
о том, что Вождь — московский Чингизхан,
расстрельный приговор злодею дан
Украинским военным трибуналом».
Прочёл — и хищным высверкнул оскалом...

Но воистину «С печалью радость обнялась...» в менталитете украинских поэтов, в звучании их слова. И конечно, кроме протестной, правдоборческой линии украинской лирики, благодарно прослеженной мной в этой книге, я стремился всякий раз подчеркнуть и иное — жизнестойкость и жизнелюбие этой поэзии. Стремился передать и в выборе стихотворений, и в переводах, как выразительно звучит стихия гармоническая, щедро образная, живописная и музыкальная, исконно свойственная самому украинскому народному характеру:

Дымится черемшина, словно свечка
у набожного вечера в руке.
И лемки, возвращаясь, на крылечко
спешат к своей задумчивой реке.

Страна души, весенних взгорий слово, —
мне не забыть черёмух нипочём,
когда плывёт над нами месяц новый
овсяным калачом! —

Так поёт о своих неповторимых карпатских краях молодой Богдан-Игорь Антоныч, словно переполненный драгоценными полнозвучьями песен от самого своего рождения, поёт молодой и ушедший из жизни непростительно молодым, двадцатидевятилетним.

И переводя с украинского, родного мне языка, на котором у меня выходили и публикации, и книги стихов, я словно делюсь здесь с более широким кругом читателей талантом «своих» поэтов, кровно мне близких и понятных — до каждого отдельного звука, до каждого ритмического поворота. И с гордостью осознаю при этом, что есть, чем поделиться. Изысканно тонкий лиризм Владимира Свидзинского и юный, полный влюблённости в мир, романтизм Михайля Семенко — певца тихоокеанской Горы Жёлтых лилий и далёкой антиподной Патагонии.

Классически ясное, полное эллинистических аллюзий слово Микола Зерова и невероятная творческая энергетика, пульсирующая едва ли не в каждой строке харизматичность Евгена Маланюка. Чарующая напевность лирики Богдана-Игоря Антоныча, воистину соловьиная песня, оборванная смертью так рано. Неутомимые поиски новых форм и глубин стиха в верлибрах Владимира Затулывитера, с которым, как и ещё с целым рядом авторов этой книги, мне приходилось общаться, начиная с восьмидесятых годов минувшего века.

Нет уже, — и нет, увы, целых четверть века, — моего доброго друга и сверстника, степняка, а затем киевлянина, Василя Моруги, нет и моих киевских собеседников Игоря Рымарука и Владимира Затулывитера. Реальный ход событий никогда не выстраивал режима благоприятствования для личностей твор-

ческих, открытых, неординарных, выбивающихся из всеобщего ряда. Обстоятельства ухода из жизни каждого из этих трёх поэтов, наших современников, были драматичными. Но голос их поэзии жив, ярк и выразителен. И я воистину благодарен небу и земному стечению обстоятельств, которые позволили мне сегодня снова напомнить о продолжении их творческого присутствия в нашей жизни.

Второй раздел книги «Двадцать» включает переводы с белорусского, болгарского, боснийского, македонского, польского, сербского, словацкого, словенского, хорватского, черногорского, чешского языков. И назван этот раздел стихотворной строкой сербского поэта Владимира Ягличича: «И Бог сказал: «Живи, если жив...»

Думаю, что в этих словах звучит важное напоминание о том, что вся литература, все книги и стихи возникают преимущественно как ещё одна возможность для нас — вернуться, и в творчестве написания, и в творчестве прочтения, к самой жизни, к её неповторимым ощущениям и переживаниям. Да, «в начале было Слово», но именно человеческая жизнь, постигаемая нами, — всеми рецепторами, всеми клетками нашего естества, — жизнь бесконечно красноречивая уже в самом своём пред-молчании, порождает мысли и слова на всех языках. Именно она, принимая в сердце дар Божьей искры, возвращаясь к началу Слова, рождает искусство и литературу во все времена, закольцовывая, но не замыкая, а ведя всё дальше и дальше витки бытийной спирали.

Творчество славянских поэтов этого второго раздела книги также, как и первого, представляет только что миновавший, но никак не оставляющий нас во множестве аспектов, двадцатый век. Год рождения самого старшего из представленных здесь поэтов, польского лирика Адама Асныка, 1838-ой, отделяет от даты рождения самой молодой в этой книге, болгарской поэтессы Лоры Динковой, ровно полтора столетия. Лора Динкова, кстати, стала одним из лауреатов впервые проведенного в 2013 году творческого конкурса для молодых поэтов разных стран «Международная Славянская Поэтическая премия».

А диапазон сущностный, открываемый творчеством этих поэтов, — и очерченный в этой книге, в переводах, в силу мно-

гих ограничений, конечно, лишь пунктирно и точечно, — представляется мне существенно большим, чем названный временной диапазон полутора веков.

В этих стихах оживают не только столетия истории родного, в каждом случае неповторимого, славянского края, но и тысячелетия всеобщего духовного и культурного контекста, всечеловеческого мироощущения и миропонимания. Об этом же, о всеобщем и по сути безграничном, контексте творчества, о природе и истоках поэзии, вдохновенно пишет, Владимир Яглинич:

Редко, с рассветом, такие стихи прилетают,
одновременно и мраморны, и невесомы,
те, что загадкою мучат и дух наполняют
разом — и смертною мукой, и счастья истомой,

разом — и твёрдою верой, и бунтом неверий,
некой единою вестью из ада и рая.
Словно из сканеров, компов продвинутых серий
и из там-тамов, и с луга стоцветного мая,

словно из русской зимы, из ведической притчи,
из Гильгамеша, из снов ясновидца Гомера,
ноты напева летят, человечьи и птичьи,
отзвуки гулких глубин неопознанной сферы.

Из жития возникают, из охры пещеры, —
то в них Колхида и Анды, а то Гималаи, —
цветом различны и формой, и точностью меры,
но бесконечны всегда, прозорливы без края.

Из сегидильи Иберии, из бугарштицы,
саги, чуляндры, из нежной печали Альгамбры
смысл прилетает, напев человека и птицы,
и затихает дыханием лавра и амбры.

Ни один из двух дюжин поэтов второго, интернационального, раздела этой книги не появился в перечне переведённых слу-

чайню. Для каждого отдельного выбора у меня были свои резоны и основания. И не останавливаясь в деталях на других предысториях, должен сказать здесь непременно более подробно об авторе процитированных выше стихов, известном сербском поэте, прозаике и переводчике Владимире Ягличиче, который успел выпустить в свет уже не один десяток книг поэзии и прозы.

Поэт Бахыт Кенжеев, публикуя свои переводы стихотворений Владимира в журнале «Иностранная литература» в 2013-ом году, писал о нём коротко, но ёмко: «Я слышал о Владимире Ягличиче как об известном переводчике русской литературы. Познакомившись с его собственным творчеством, был поражен глубинною мощью этих стихов, их бескорыстием и самоотверженностью».

Именно неутомимость Владимира в его трудах переводчика поэзии и духовного спонсора культурных обменов несомненно дала исходный толчок моей работе над нынешней книгой переводов «Дван**а**десять». Дело в том, что в минувшем 2013-ом году Владимир Ягличич перевёл на сербский язык более полусотни моих стихотворений, которые и вышли в том же году отдельной книгой «Днесь»-«Данас» параллельно по-русски и по-сербски.

Вслед за этим появились и переводы двадцати пяти стихотворений Владимира, сделанные мною. И, безусловно, эта ответная работа была не только выражением признательности и благодарности Владимиру, но и выражением моего неподдельного интереса к его действительно высотному и размашистому поэтическому миропостижению.

Эти двадцать пять переводов с сербского, помещённые здесь, и несколько моих давних переводов с украинского, опубликованные мной ещё в восьмидесятых годах, и послужили начальным капиталом в трудах над нынешней книгой. Ещё раз хочу произнести здесь слова признательности сербскому поэту за его энергетическое и творческое спонсорство — именно его «ау» в тот момент, когда мы ещё и не были вовсе знакомы, именно его письмо-сюрприз в новогоднюю ночь 2013-го с первыми переводами — подтолкнули меня к интересной, и ставшей для меня очень важной, работе над нынешней книгой.

Радостно было узнавать в этих ежедневных и желанных трудах новые имена, новые поэтические голоса. Отраднo было

ощущать звучание иных славянских языков как нечто очень знакомое и родное, угадывать в лексических вариациях те или иные повороты прапамяти и праистории. Лексический, образный, смысловой, человеческий космосы изо дня в день расширялись и просвечивали, один сквозь другой, словно пульсирующие анаксимандровы сферы.

Снова и снова приходило ощущение того, что световое и силовое поле мировой культуры, по большому счёту, едино. Да и частные импульсы узнавания и угадывания своего родного в соседских языках не уставали радовать слух и глаз. То сербские «сунцокрети», то бишь наши соняшники-подсолнухи, явственно аюкались кряжистостью, крепостью и даже креативом могучего солнцелюбивого цветка. То вдруг звучало давно забытое тобой, но живущее своей глубинной правотой, уже целое тысячелетие, единение болгарского «хора» с русским «людом, людьми».

Или вот ещё радость узнавания — когда в миниатюре «О гречкосее» Десанки Максимович снова оживает пушкинская интонация, пришедшая из самой сердцевины народной мудрости, оживает речение «Сказки о попе и его работнике Балде»:

Гречкосей пусть работает на своего пана
два дня в неделю —
день косит с рассвета рано.
второй — пускай за лозой следит,
чтоб был виноградник ухожен, умыт,
ещё один день — ему велено строго
камни таскать на царскую дорогу;
день муку пусть мелет для монастыря,
назавтра же, не тратя времени зря,
новую крышу владычице ладит,
и яко отец его, дед и прадед,
ещё один день, как решено,
готовит под новый посев зерно.
А все прочие дни, оставшиеся у него,
пусть уж работает на себя самого.

И строки славянских поэтов, и самые их имена, — Каштелан и Костиц, Незвал и Горов, Сейферт и Стафф, — не могли, ко-

нечно, не оживлять в моей памяти тех прежних живых встреч с их землями и городами, которые и сегодня стоят перед моими глазами — встреч с Чехией и Словакией, с Польшей и Беларусией, со Словенией, Черногорией и Хорватией. Всё так же волнует воображение заново и неповторимая Прага, и дикие ущелья Монтенегро, всё так же зовёт к себе неодолимо солнечная, виоцветная Адриатика хорватов.

А вот и ещё нечто совершенно незабываемое — глубочайшая на всей Адриатике бухта черногорского Котора, изумрудное лезвие бездонного тектонического разлома:

Южная кромка славянства — за Ульцинем склоны.
Смыслы стущаются, и откликается колер
то узнаваемо-памятно, то потаённо —
белая Будва, клинково-смагдовый Котор...

И так хочется сегодня надеяться, что и Сербия с Болгарией, и Македония с Боснией-Герцоговиной ещё дождутся меня в гости! Даст Бог, дождутся и в этом непредсказуемом году. Если, конечно, не пойдут вразнос крошечные демоны войны. Войны, которая, по сути говоря, уже два месяца стоит у порога каждого дома здесь, на Украине, где перевожу я стихи с апостольской дюжины славянских языков на русский, где пишу по-русски и эти строки в конце далеко не мирного апреля.

Сказать ещё прямее, война эта уже два месяца, с начала аннексии Крыма, идёт — необъявленная, предательская, гибридная, ползучая, диверсионная. Но война вполне беспощадная. Продолжается нападение закусившей удила разъярённой империи на Украину, посмевавшую наконец открыто заявить: «Свобода или смерть!», отдавшую в жертву более сотни молодых жизней своих сыновей — ради лучшего будущего многострадального народа. Продолжается война Каина против Авеля. «Каин, Каин, где брат твой, Авель?»

Авель, говорящий сегодня в Украине-Перворуси и по-русски, и по-украински, и в равной мере, независимо от своего языкового предпочтения, любящий свою родную землю, так и останется при любом повороте событий на своей земле, со своей извечной работящестью и певучестью, среди своего золо-

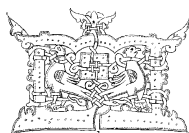
та и лазури. А скоро ли будет он здесь счастлив, будет ли счастлив вообще?.. Промолчу сейчас — останусь с этим безответным вопросом, ставшим сегодня комком в горле не только у меня.

И ещё несколько завершающих слов об Апостольском числе, о «двана**д**есять», о дюжине. Двенадцать учеников было у Иисуса Христа. Ушёл из их числа Иуда, и место его было занято впоследствии Матфеем. Так что не всё сразу устоялось и в Апостольской дюжине. По-украински «выздороветь» звучит как «одужать». Всем сердцем желаю сегодня своей Родине полного выздоровления — вослед жестоким и жертвенным дням. Очень надеюсь, что и славянская дюжина языков, стран и народов, к которой я здесь, с благодарностью и братским чувством, попытался, хотя бы символически, прикоснуться, сможет выдюжить, одолеть в ближайшем будущем все вызовы исторических сломов и человеческих несовершенств.

Одужаем, выдюжим. Сохраним и Христа, и Апостольскую дюжину — в душе, в помыслах и поступках.

2014

«С печалью радость обнялась...»



*переводы
с украинского*

Олександр Олесь

(1878—1944)

ГОЛОД

Проклятый, вызванный громами,
Он страшно над землёй восстал
И ненасытными зубами
В кровавой мгле заскрежетал.

Пошёл притихшим сникшим полем
На сёла, словно камнепад,
И, будто ненасытный Голем,
Всех жадно грыз и ел подряд.

Он разрывал быков руками,
Проглатывал овец стада,
Младенцев пожирал с костями
Живьём — без страха и стыда.

Всё съел. А тех, кто попытались
Бежать, догнал в горах, в лесах,
И всех, кто в муках мук распялись,
Сожрал, голодный, на крестах.

Влез на гору, посредь пустыни,
И выжег, криво глядя вниз,
Огнём на каменной вершине:
«Хлеб, мир, свобода — наш девиз!»

* * *

С печалью радость обнялась.
В слезах, как в жемчуге, мой смех.
И с юным утром ночь сплелась
Над чередой тревожных вех.

Едины радость и журба,
Сливаясь в круговерти дней.
И не стихает их борьба,
И я не знаю — кто сильнее...

* * *

Лебеди ль, гуси по небу плывут
Там, в синеве, надо мною,
Солнца потоки лучистые пьют?
В брызгах цветы-самоцветы цветут,
Как в Украине весною.

Тучи ли, лебеди, гуси ли там
Реют в небесной купели?
Сердце своё вам, крылатым, отдам,
Снова с мольбой обращаясь к ветрам,
Чтоб на Украину летели.

Ой, полетите к любимой, к родной,
Чёрной печалью напейтесь.
Сердце моё отнесите домой
И над цветущей степною весной
Кровью моею пролейте!

* * *

Марии Фабиановой

В Вас столько солнца золотого,
Лазури чистой и тепла,
Как будто Вас из дня иного
Волна морская принесла.

Как в силах Вы светить, живая,
Средь обезлюдевших пустынь,
Лучами сердца согревая
Гранитных скал бездушных стын?

Иль принесли Вас волны-крылья,
Чтоб Вы светили в сизой мгле,
Чтоб люди с верой в завтра жили
И ждали счастья на земле?

Владимир Свидзинский

(1885—1941)

* * *

Ударил дождь и покачнул
Покой полуденного хмеля,
Цветной горошек распахнул
Глаза, и бабочки взлетели.

Где ж ты? Твоих напевов звук
Дождь заглушил нетерпеливо.
Смотрю я: затуманен луг,
И ты бежишь ко мне счастливо.

И нет ни неба, ни земли,
И блещет нить в узоре вохком.
Ты, как яичко, в платье лёгком
Белеешь на лугу вдали.

Вот добежала — ливень стих.
Тебя целую и вдыхаю
От плеч обрызганных твоих
Небесный тёплый запах мая.

* * *

Неодолимо нависла над мокрым окном
Ослеплённых будней муть.
Спокойна вещей суть,
Затаились горькие слова,
И тускнеет печаль моя,
Как подо льдом трава.

Зарастает зеркало пылью,
Память о нежной — забвением.

Пусть вещи спокойно живут
Под глухою корой молчания.

Ни вечерняя заря, ни ранняя
Ни с далёких, ни с близких дорог
На мой забытый порог
Милого голоса не приведут.

1932

* * *

Лицо зеркала мертвеет в тени,
И прадавняя тишина спит,
Как налитая в миску вода.
Только руки мои живут —
Иногда странно, как-то отдельно,
Иногда движение моих рук
Выводит меня из задумчивости,
Словно шелест в лёгком листе.
Я встаю, подхожу к окну.

Надбитая колонка стоит у крыльца,
Цвель в её желобках.
Долетают сюда снежинки,
Долетают синицы по утрам.
Наклоняюсь лбом к стеклу,
Долго на них смотрю.

Не люблю, когда приходит ночь,
Завёрнутая в тёмный платок
Мшисто-зелёного цвета.
Тишина стекает в большой пруд.
Синие синицы, где вы по ночам?

Лицо зеркала мертвеет в тени.
Занавеси становятся каменными.
И, очерченный кругом молчанья,
Я глуше и печальней горю,
Я горю, как китайский фонарик,
Забывший на ветке в старом саду.

1933

Михайло Драй-Хмара

(1889—1939)

* * *

Я полюбил тебя той пятой
весной голодной... Всю до дна.
Благословил и путь проклятый,
залитый пурпуром вина.

Орлицей ты на бой летела,
добра исполнена, не зла.
Я видел кровь на крыльях белых
и рану посреди чела...

И горб Голгофы вновь вздувался
там, где нежны степные дни.
И на ворота враг взбирался,
крича: распни её, распни!

И горечь этой крестной муки
сполна мы пили — из ведра.
Соединив в молчанье руки,
мы шли как брат и как сестра.

1924

* * *

Я мир вбираю страстью ока,
влюбляясь в линию и цвет.
И лемехи лучей глубоко
в моих полях проводят след.

Люблю слова, что полнозвонны,
как мёд, пахучи и хмельны,
те, что в себя в тиши бездонной
вобрали вековые сны.

Эпитеты средь них — как напасть:
красуются то там, то тут.
И только ямбы и анапест
устав свой бережно блюдут.

А осени золотокошой
дарю печали я рубин,
в мой перстень вправленный. И осы
летят на лозы поздних вин.

Смотрю и слышу, как прозрачно
звучат потоки бытия.
И так же чисто, не иначе, —
мне верится, — спою и я.

1925

* * *

На серой стенке спичкою сожжённой
дни отмечаю, злые времена,
топчу весь день тюремный камень тёмный
и напиваюсь грустью допьяна.

Напившись, вороных впрягаю в шоры
и, догоняя давние лета,
в живую синь лечу, в свои просторы,
где юность — так свежа и золота.

Вернитесь, — я молю, — хоть на мгновенье!
Но только «Нет!» мне слышится в ответ.
И на мосту калиновом в прозренье
заплакал я... И вижу клетки свет,

обрывок синевы, крестом распятый
в решётке, и свирепый глаз в волчке...
Нет, вороные — до конца утрата:
я в каменном, я в каменном мешке.

24.5.1937

Микола Зеров

(1890—1937)

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

И тогда прокричал петух ...

Рой свечек, тёплый чад. С высоких хор
Звучит напев неверья и печали.
Круг палачей и стража в синей стали,
Синедрион и кесарь, и претор.

То наших судеб скомканный узор,
То нас предупреждает воплем кочет,
И во дворе для нас костёр клокочет,
И слуг гудит архиерейский хор.

И тёмный свод евангельских историй
Звучит пунктиром тонких аллегорий
О наших жадных подлых временах.

А за дверьми, на кладбище, в притворе
Ребёнка голос, щебетанье птах
И в смутном воздухе безжизненные зори.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

Благообразный Иосиф...

Аримафеи житель благочинный
И тайный Иисуса ученик
К руке, гвоздём израненной, приник
И плоть Господню в пелену кончины

Повил... И солнце чёрное кручины
Явило Иудее грозный лик
Как знак того, что для людей и книг
Настал великий миг первопричины.

И с тихим плачем ночь сошла на сад —
Кресты и холм, и стражников отряд, —
Всё спит, объято густо-синей мглою.

И, призрачны, с поникшей головой,
Проносят жёны дар печальный свой —
Душистый нард и мирру, и алоэ.

САЛОМЕЯ

Там левантийских полнолуний чары
тепло и пряно гонят к сердцу кровь,
там диким цветом отцвела любовь,
и всё в крови — и шлемы, и тиары.

А с водосбора, предвещая кары,
гремит пророк, седины разметав.
Иоканаан!.. Не ясный шум дубрав —
в его словах пустыня и пожары.

А Саломея!.. Лишь дитя! Но взгляд
струит прозрачно смертоносный яд,
клинок и месть упрямо накликают.

Душа моя! Беги же! Синий вал
спешит туда, где средь эгейских скал,
стройна, как луч, белеет Навсикая.

ВЕРГИЛИЙ

Мужик из Мантуи, поспешный и смуглявый,
в мальчишестве обласканный селом,
воспел и жезл, и бронзовый шелом
и сам был осенён великой славой,

поскольку, сквозь пожары распри ржавой
увидив лучший век, пропел псалом о том,
как процветает мир под цезарским орлом
в заботливом ярме незыблемой державы.

Тот век минул — и Рим, и цезарей дела
рука истории к гробам поволокла,
где тлеют всех времён фантомы и короны.

А он живёт, и звучный гул его поэм
доныне снится нам рыданием Дидоны,
бряцаньем панцирей и всплесками трирем.

ПАРТЕНИТ

М.А. Драй-Хмаре

Трубадуры, как Максим Рыльский...

На скалах, где ломают диорит,
За тёмною грядою Аю-Дага
Почила древнегреческая сага,
Храм Артемиды, первый Партенит.

Века минули, но не стёрли след!
Всё длятся чудеса Архипелага —
Ореста зов, Пиладова отвага
Предсмертный Ифигении привет.

И двум поэтам, что заплыли в море,
Опять в ахейском чудятся просторе
Сверкающие вёслами челны,

А дачников валяжные фигуры
Оценят щедро их цветные сны
Процеженным сквозь зубы: «Трубадуры...»

СКОРПИОН

Блаженны дни и полночи в селе.
Земли Волынской плодоносно лоно
И дух полей, и голоса с балкона,
И клёкот жаб на ветровом крыле.

А в плёсе, словно в аспидном стекле,
Уже зажглось созвездье Скорпиона,
И Антарес алмаз злато-зелёный
Над горизонтом засветил во мгле.

Я уезжал, и глазом астролога
Читал средь звёзд, куда ведёт дорога.,
Назначенная мне теченьем дней.

И гас недобрый Скорпий над рекою,
А лук Стрельца крепчал тугой дугою,
Светясь приветной россыпью огней.

Павло Филипович*(1891—1937)*

* * *

Минула ночь тревожно и бесславно,
Врагов на поле — как на небе звёзд.
Взойдёшь ли, моя лебедь, Ярославна,
На тёмный вал отчаянья и слёз?

И мечет ветер стрелы неустанно,
И солнце с неба льёт пьянящий зной.
И кличу я, — из плена басурмана, —
Тебя, неразделимую со мной.

Но лишь Кончак красой дочерней нежной
Играет и сулит измену мне.
И чёрной страстью, пагубной и грешной,
Чужой напев теснит мне грудь во сне.

* * *

Долу склоняется гневно
Жаркого солнца глава.
Нежный цветок, Бондаревна,
Стынет, бела и мертва.

Тучи сбиваются в стаю,
Стонет неволя людей:
Хватит собачьего лая,
Власти твоей, лиходей!

Чёрное шепчется жито,
Ветер стучится в окно:
Ой, будет лито да пито,
Будет, ой будет вино!..

Михайль Семенко

(1892—1937)

ЗАПЛЕТИ КОСУ ПОКРЕПЧЕ

Я на страданье тебя веду —
на медленное сгорание.
Взорвёмся же на прощанье —
Так написано на роду.

Может, огня ярче не видел никто,
чем болид нашей встречи.
Заплети косу покрепче.
Застегни пальто...

7.5.1917. Владивосток

ГОРА ЖЁЛТЫХ ЛИЛИЙ

Скажи — ты не забыла Гору Жёлтых Лилий,
Зелёную до боли полонину?
Когда, за поэтичнейшей из идилий,
Клялись мы любить до самой кончины?

Солнце, солнце, бухты, бухточки, дали —
Мы целый мир тогда в себя вместили!

И лилии — огромные, жёлтые, безумные — собирали,
И всё прошлое, всё будущее — забыли, забыли.

27.6.1917. Владивосток

ОГОНЬКИ ПО ВСЕЙ БУХТЕ

Катер даёт третий гудок —
Блестящий, изысканный катер.
Лунной ночью мы оставляем Владивосток
И движемся туда, где темнеет кратер.

Огоньки по всей бухте вместе и врозь,
Вода шумит, волны бегут мимо.
В нашем сердце, правда, нету слёз,
Любимая?

Город, город в огнях остаётся сзади.
Море блестит, тени взгляд ласкают.
Милая — чему мы рады,
Чего сердце чаёт?

30.6.1917. Владивосток

ПАТАГОНИЯ

Я не умру от смерти — я тот,
Кто погибнет только от жизни.
Стану умирать — и жизнь замрёт,
и стяги её повисли.

Я молодым, молодым умру —
Меня ли состарят битвы?

Оставь, оставь траурную игру.
Рассыпь похоронные ритмы.

Я умру, умру в Патагонии дикой,
среди огненной земли снов.
Родня моя, не услышу вашего крика.
Я — ничей, поэт мировых слов.

Я умру в минуту, когда природа стихнет,
Под последней воробьиной ночи блеск.
Умру в паузе, когда сердце мне стиснет
Моей жизни, молодости и силы всплеск.

30.6.1917. Владивосток

ТЁРЕН

С. Гуляеву

На скале безъязыкой я.
Внизу маневрирует поезд.
Между гор змеится колея.
Наклонилась неба высота.

Спит залив, наморщив брови.
У края мола колышет шаланды.
Солнце заходит без условий —
В красном галстуке, галантно.

Свет блеснул. И сразу погас.
Дым мастерских шоколадно-чёрен.
Во мне — бесконечность синих фраз
О той, чьи глаза — тёрён.

2—15.8.1917. Владивосток

СТИШОК РАЗОЧАРОВАНИЯ

Я разочарован в своём смычке.
И потом — мне не хватает нот.
Я опоздал и копаю теперь в уголке,
Я копаю и уже для мечты своей — мёртв.

Что из того, что я движусь вдоль Крейцера?
В будущем — сентиментальный, нудный дилетант.
Судьба мою виолину разбивает до вечера.
Опередило время мой талант.

8.11.1916. Владивосток

ПО ДОРОГЕ РАЗДОРОВ

Вчера свидание мы разорвали
«На старом месте» у высокой горы.
Я отобрал письма и книги,
на прощание мы ничего не сказали —
И расстались в первые дни апрельской поры.
Возвращался один по пути раздоров.
Над ручьём минуту постоял,
где разорванные листки плыли.
Всё случилось так, словно в чайник попал мой норов,
И по телу моему пробежали автомобили.

3.4.1917. Владивосток

РЕПЛИКА

Хочется сказки. Хочется тишины.
Криками, трубами измождён мозг.
Сердце еле дышит в перепадах весны,
Словно ему дали сотню розг.

Хочется дальше. Ну хоть в Австралию.
Выберу на карте одиночество острова.
Переброшу с собой веков вакханалию
И мою поэзию острую.

Красные пятна на зелёном фоне.
Чую, быть мне знатным эпиком!
...Зачем, зачем ухватили вы в граммофоне
Мою безумную реплику?..

7.4.1917

ГОРОДСКОЙ САД

Буду ходить в городской сад.
Там кабаре и фарс.
Люблю, когда в душу проскользнёт гад —
Тогда там много фраз.

Ха. Сбоку красный круг карусели
Среди общипанных заплёванных кустиков.
Хрипит катеринка, и пьяные трели,
словно стая весёлых маленьких цуциков.

На веранде струнный квартет.
Я — поэт.

23.4.1917. Владивосток

ТУМАН ВЫПЛЫВАЛ

Мистерия

Отозвались струны легчайшим гомоном.
Усмехнулись струны потухшими болями.
Ещё теплился звук, уже смятым и сломанным.
И дрожали нервы нитками голыми.

Туман выплывал из-за гор, тронутых жутью.
Багровел закат фоном адской мистерии.
Никли деревья, согнуты мизерной сутью.
Буре, Великой, Тайной Буре открывайте двери.

23.4.1917. Владивосток

Евген Маланюк

(1897—1968)

ВАРЯЖСКАЯ ВЕСНА**1.**

Обычный день Так что ж во мне отрада
Всё явней оживает, всё ясней?
И вспоминаю — Леда... Леди... Лада... —
И имя всё ищу моей весне.

Стать гордая и солнечные косы.
А под варяжским золотом косы
Девичий взор горит светло и просто
Сияньем снежным северной красы.

И не идёт она, парит крылато.
И стройность ног являет лёгкий бег.
Сквозь синий воздух — свежесть аромата,
И вновь цветёт подснежниками снег.

2.

Она — скандинавка. В походке — дыханье фиорда.
Она — от варягов, будивших дремотную Русь.
И шаг её — сталь. И движение — надёжно и гордо.
И в синих глазах узнаю я по крови сестру.

Как лыжи поют! Как румянятся розами лица!
Как остро и стройно звенит в её поступи Григ!
В широких очах ключевая водица искрится,
В устах лепестковых — малиновой радости крик.

Светись же, сияй, зоревая варяжская Лада!
Эллада Днепровская ждёт уже тысячу лет.
Да будет тобой вдохновенна извечная правда
На древней одетой снегами бескрайней земле.

1927

ИЗ «ЧЁРНОЙ ЭЛЛАДЫ»

1.

Руина. И фатум чумы и холеры.
Навек. Навсегда. Поколениям вдогон.
Ни смысла, ни меры. Ни проблеска веры
На клятой земле, где ты трижды казнён.

Убогие, жалко согбенные хаты,
Барочный дрожит на ветру завиток,
Княгиня в Путивле — в стенаньях утраты,
И небу угрозы бросает пророк.

Ветрам и векам на потребу — руина.
Измена к измене, беда на беде.
Нет-нет, не Христос, не Христос, Украина, —
Преступник Варавва хрипит на кресте!

1929

2.

Памяти Петлюры

Шли в распутицу, мимо погоста.
За плечами хрипел Батый.
Прокажённой дороги короста
Отражала ордынцев следы.

И простор — без надежды, без воли,
Молчаливый, враждебный — минал,
И мороз на теле Подолья
Под копытом скреплял письма.

1926

СОНЕТ ГНЕВА И ПОЗОРА

Калека проклятый — таков он и доныне!
Слепой кобзарь — весь вечная печаль.
Самсоном тёмным — сокрушил святыни.
Разбил, дурак, синайскую скрижаль.

И наплодил вождей — плебеев, шваль
Блошиных душ в слюне и паутине, —
Теперь, когда рокошет Муссолини,
И жжёт очами бронзовый Кемаль,

Теперь, когда вокруг отважных звенья,
И в каждом из народов зреет гений,
История готовит новый том,

Тюфяк хохол, что, хоть дурной, а хитрый,
Лишь по ветру склоняется макитрой,
Желудком судит и храпит гуртом.

В лагере интернированных, 1921.

* * *

Ave Caesar, август певучий,
августейший властитель лет!
На плодов твоих терпких тучи,
На всю землю сквозь полдень жгучий
ослепительный льётся свет.

Ave Caesar, твой день сияет —
рощ колонны, форум лугов.
Рим твой синь и лазурь вдыхает
и сквозь дымку времён оживляет
пантеон плодовитых богов.

Ave Caesar, застывший на троне
Миф и стёртый на мраморе след!
Снова солнце играет в короне,
А виски стынут сталью на склоне
Опалённых историей лет.

ЗИМА

Ты, как сестра, ко мне приходишь вновь
Вслед за наркозом позднего тумана.
Эфиром смыта ссохшаяся кровь,
И снег твой, марлей, охлаждает рану.

И целый свет твой бел, как лазарет
Для воина, что еле выжил в битве,
Что чует всю печаль посмертных лет
И всё дыханье отдаёт молитве.

ИЗ ВАГОНА

Разлукою, до небосклона,
Горчит вино чужой весны —
Мелькайте, за окном вагона,
Чужбины радужные сны!
Вам не унять сияньем влаги
Неодолимой жажды страсть.
Ни ненависти, ни отваги
Уже у сердца не украсть.
Оно голодным воет волком,
Ему пустыня — вся земля...
И даль напрасно синим соком
Пьянит луга, поит поля.

1938

ЭХО

Еле доносится гул —
Крики голодных хазар...

Где-то синее Ингул,
Стылый осенний пожар.

Где-то за стуком колёс —
Шпола-Цветково-Талья.

Там, где за дымкой, без слёз,
Вотчина помнит меня.

Стынет синюшно вода,
Пустошь, где сад был и дом.

Сердце моё навсегда
Там, на ветру молодом.

Что ж, не судилось. Уймись,
Горькая в горле слеза.

Прянут в пустынную высь
Клики голодных хазар.

1942

ГОРОДА МИНУВШИХ ДНЕЙ

5.

Посмертный день среди руин змеится
Могильным гадом. Юркнет и конец.
А ей всё то же понапрасну снится,
стране до камня высохших сердец.

Всё снятся ей величье, мощь и слава
и пышность слов, и почестей оплот.
Ей невдомёк, что этот сон державы,
как некий призрак мщенья, промелькнёт.

И станет явной суть неумолимо
Гербов щербатых, сломанных колонн.
Посмертный день растает. И незримо
исчезнет в тишине последний сон.

1933

ОТЕЧЕСТВО

Так отважный разгон к белопенно-сапфирному Понту
остановлен предательским жалом степного ножа.
Так врезается Азия в жёлтый провал горизонта,
и стирается абрис земли, и сникает межа.

Проревели пороги — и княжеский корень подломлен,
катит по полю ветер безродно-сухие кусты.
Но волнистый понтийский простор бесконечно приволен,
и лазурною аркой очерчен завет красоты.

Там улыбчив живительный мрамор под ветками лавра,
и колонны, как белые сосны, встают до небес.
Там душа моя солнцем Эллады сегодня и завтра,
и навеки согрета. И Скифии морок исчез.

Оттого и смертельный напор, и порыв неустанный,
и бесстрашие, и жажда, что к цели несут сквозь века.
Безголовая Нике овеена славою бранной,
и несломлены крылья, и верой правица крепка.

ПАМЯТИ ЙОЛАНЫ КАРДОШ

Акации цветут — хмельной мадьярский вечер —
О амбра страсти той, что, словно месть, сладка!
Акации цветут. И пьяный душный ветер —
В дыханье губ твоих и в прядке у виска.

Акации шумят — куда от них податься?
Вся улица в цвету. Вся улица, как сад.
И в буре лепестков уже не в силах сердце
Пить смерти и страстей пекущий аромат.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Не забыть мне, как властно, как ладно
Ты вела лабиринтом любви,
Ариадна моя, Ариадна!
Снова в лето твоё позови.

И когда бы не смуглые руки,
Не очей твоих вечных сапфир,
Не бровей твоих тонкие луки,
Стал ещё бы безжалостней мир.

И без нити твоей золотистой
Я бы сгинул во тьме и ослеп.
Лебединая плавность, монисто.
И душистая память, как хлеб

1944

ГОРЬКАЯ ВЕСНА

*Ich hab» mein Herz
In Heidelberg verloren**
студенческая песня

I

Так зреет тягостно весна —
Дождями, смутю тумана.
Как яд несбывшегося сна.
Соцветья ночи дышат пьяно.

* Я оставил своё сердце
в Гейдельберге (нем.)

Как склянка неживой воды,
День этот, трезвый и греховный.
И нету сил. Но жди, но жди —
Родится полдень, солнцем полный.

И засияет синью высь,
Река блеснёт в ожившем свете.
Найди лишь силы: помолись
Навстречу злу и лихолетью.

2

Здесь не встретишь руин. Здешним склонам и долам
Не досталось войны. Горы спрятали жизнь.
Старый Гейдельберг грезит о прошлом весёлом,
Безвозвратно умчавшемся ввысь.

Вот и мы повторяем и юность, и радость.
Вот и мы заблудились в былом дорогом.
И те ночи и дни, что изменам достались,
Стали грёзой и выпитым сном.

3

День потемнел. И радость исчезает,
Хоть над Неккаром брезжит майский свет.
Ритмично вёсла воду загибают,
И плещут волны... А весны — всё нет.

Вспорхнула птица и во мгле тумана
Исчезла. И опять — ни ветерка.
Плывёт река, бездушна, неустанна,
Плывут века, бездушны, как река.

* * *

Уже кленовой кровью раны
Забрезжили в сентябрьском дне.
Сквозь тусклость раннего тумана
Клонится лес, от солнца пьяный,
И угасает в полусне.

Под синью гулко го фаянса
Мерцает паутины сон,
И полнится блаженство транса.
«Железной первой ночью» Гамсун
Звучит закату в унисон.

* * *

Не нужно мудрости — она тиранит синь,
Стирает даль и краски поглощает,
Подобно кислоте, съедает цвет красы
И запахи крадёт. И красота — сникает.

Не нужно. Августовский солнца блик —
Живителен. И он, как зов Предтечи,
Струит огонь и окрыляет плечи,
Дабы взлететь — хотя б на краткий миг.

* * *

Сыну

Уже почти привык, что мне досталась
Разлука с домом, что за годом год —
Всё горше, всё смертельнее усталость.
Что век мой, горбясь, под уклон идёт.

Уходят сутки, новый день рождая.
Его зенит не я увижу — ты.
Круг сужен. Лишь полоска огневая
Осталась от небесной высоты.

И солнце опускается багряно
За ту черту, в холодный океан...
Не я, но ты произнесёшь «Осанна»,
Иного дня, иных людей пеан.

ПАМЯТИ Т. ОСЬМАЧКИ

Прости — я не приду. Пусть с высоты
Лишь чёрный ворон крикнет, хрипло плача,
Что в землю лёг неповторимый ты,
Осьмаче-символ, Вий от мук незрячий.

Нет, не увязнет в холоде чужбин,
В бездушье глин твой пепел, жар сакральный.
Ведь правнук, что всей сутью — снова сын,
Перенесёт домой твой прах опальный.

Посадит дуб. И в мае над тобой
Опять взойдёт чабрец благоуханно.
И будет Днепр светиться синевой,
А в Киеве опять шуметь каштаны.

* * *

Бледнеет Апокалипсиса зверь,
Стирается, сникает чёрный абрис.
Час предрассветный — щербень бывших вер,
Дух пустоши и полумёртвый пафос.

Ещё чуть-чуть — и в резком свете дня
Предстанут в наготе бесстыдно-смело
Безликость масок и страстей возня,
И ложность обескрыленного тела.

И ты себе назначишь лишь одно —
Собрав все силы в узел, сбросить узы.
И превратится снова кровь в вино,
А шум и хаос — в вещей голос Музы.

N.N.

Между нами — пространство и темень,
И на разных мы клятвах стоим:
Вы в нарцисс влюблены, я же — в кремь,
Вам — Эллада, а мне — только Рим.

Где-то дали, моря, океаны,
Счастье вольных ветров наяву.
Только я, только я, окаянный,
Неотступной тревогой живу.

Вам — весь мир ярко-синий без края,
Ну, а мне — воспалённый вулкан,
Эхо, гул, где, дрожа и пылая,
Степь казнящая гибнет от ран.

ARS POETICA

Юлиану Тувиму

3.

Вечно сжатый в пружину и хмурый,
В миг улыбки к тревоге готов,

Morituri литературы,
Гладиатор безжалостных слов.

Вечно — чернь и жестокость арены,
Вечно — падая, снова встаю.
И язвят своры взоров надменно
Иссечённую душу мою.

Так горю, ибо неодолимо
Входят в кровь мою через века
Заклинанья кандальников Рима —
И варяга, и казака.

5.

Эллады сыны и сыны Иудеи,
Враждой разделённые дети земли
Крестом и железом и ядом идеи
Возводят и рушат все Римы, Кремли.

От греков и римлян, провинций, колоний
Гремели столетия меча и огня,
И к Богу вздымая бессильно ладони,
Молили напрасно великого дня.

И месть не жалела ни крови, ни яда,
И дымом руин упивались ветра.
Два лютых врага — Иудея, Эллада
От Тибра и Рейна и вплоть до Днепра.

И я средь чужих в нестихающей скорби,
И ты (на всём мире — чужбины печать)
Даруем всю боль свою *urbi et orbi*,
И выси в ответ продолжают молчать.

ДУМЫ

Всё сломалось. Уже не прощу и не склею.
Вяло тянутся донными рыбами дни.
Лишь квадрат синевы над провалом Бродвея.
Волны камня и стали. Бессонниц огни.

Мёртвый идол явился железной машиной,
Обезьяной и роботом, скрежетом зла.
Как посмею забыть о далёкой Единой?
Как живую порву пуповину узла?

Будут годы хромать, и змеиться дорога,
Будут взрывами полниться проклятый век.
Будешь видеть, как вновь — без Природы, без Бога —
Возвращается в прах человек.

* * *

Рассвет высок. Ещё земля прохладна,
От сочного куста чуть веет хмель.
И невесомы светотени пятна.
Обломки скал и утра акварель.

Проснись. Опять до боли всё знакомо:
И Сугоклея, и сухой Ингул.
Искрят береговых гранитов сломы,
И вдоль долины ровен ветра гул...

Ещё в начале осень — не черница,
Но золотая память о весне,
Ещё она — догадка, та, что снится
В анабиозе, в разноцветном сне

Евген Плужник

(1898—1936)

* * *

Я — как и все. И штаны — полотно.
И сердце моё — наган.
Видел я жизни последнее дно
Сотнями ран.

Всё! И не нужно напрасных слов! —
Правда молчанья — верней.
Встанет посев и взойдёт покров
Над тишиною дней!

Вот и не нужно газетных фраз!
— Боль с каждым днём сильнее.
Молча поднимется новый Тарас
Среди кровавых полей!

1925

* * *

Над морем на скале, на нерушимых кручах,
На мёртвом стебле радужным цветком,
Горит огонь, чтоб средь валов кипучих
сумел найти корабль свой дом.

Бывает так: уже надежды нету —
И не уйти из топкой тьмы никак!
Но вдруг на волнах полосой света,
Ещё незримый, вновь блеснёт маяк.

И луч его туман развеет вскоре.
И, жадным взором прикипев к земле,
Идёт корабль опасной зыбью моря,
В зловещей исчезая мгле.

* * *

Гляди — внизу и море, и сады.
А здесь, на скалах, — только голый камень.
И здесь земной коры застывший пламень
Ещё ничьи не тронули следы.

Благоговей! Вглядись в ранимый свет!
Здесь лишний звук, неловкое усилие —
Засыплут тотчас твой случайный след
Летучей, словно время, вечной пылью.

И будет мир таким, как он был
Всегда. Молчит гранит, зернистый, жаркий.
Не сыщешь и окурка-недогарка,
Который ты на камне позабыл.

* * *

Молчи! Молчи! Я знаю, за словами
Холодный сад, деревьев череда...
То наша страсть темнеет между нами,
нас разлучая ныне навсегда.

Шалей, шалей, в отчаянье, в бессилье!
Что эта боль?! Она внутри пуста!
...Как поздно мы сердца остановили,
Разъединив навек свои уста!

О, друг мой! Изойду последней силой
В фантоме том, в пустеющей ночи,
Где образ твой, утраченный и милый,
Где голос твой... Молчи! Молчи! Молчи!

* * *

Вошла, сияя, в море. Кто она —
Ответа и доньше не постичь ей...
...И разве все мы — не единство сна
В быстротекущем и пустом различье?

Ленивый жест, — и вот под ноги лёг
Прозрачный венчик — сброшена накидка,
И на высоком стебле стройных ног
Цветок зажётся тяжкой полной квиткой —
Спокойный торс, нетронута-нагой!

Спадает вал... Немяют берега...
И снова плеск... И затихает снова...
Стоит она, властительно нага
над усмирённой бездной бирюзовой.

И лоно простирает ей своё
Величье вод, что всем ветрам открыто, —
И кажется, уходит Афродита
В тот белый шум, что породил её!

Богдан-Игорь Антоныч

(1907—1936)

КРЫШИ

Всё то село, что в ольхах и в лещине,
где крыши пламенеют черепицей,
ты вновь отыщешь в поднебесной сини
и в молодости, в тайне нежнолицей.

Калиновую помнишь ли ты кручу,
где пастухи в кринице солнце поят?
Напишешь повесть: вечера пахучи,
и думы ольх, и крыш багровый пояс.

ПОДКОВЫ

На ста возах весна приедет,
смычком танцуя так и сяк.
Сквозь сито дождь весенний цедит,
и зажигает свечки дьяк.

А мы в дорогу не готовы.
Да, милая, гнедые ждут.
Но пусть нам месяц на подковы
два кузнеца перекуют.

ЧЕРЁМУХА

Дымится черемшина, словно свечка
у набожного вечера в руке.
И лемки, возвращаясь, на крылечко
спешат к своей задумчивой реке.

Страна души, весенних взгорий слово, —
мне не забыть черёмух нипочём,
когда плывёт над нами месяц новый
овсяным калачом!

ОТРЫВОК

Боюсь уснуть без света лампы,
и может стать ещё страшнее.
Опять мне ночь осколком ямба
под сердце входит, пламенея.

Нет, не заснуть. Петух горланит.
И бьют часы, и месяц виснет.
И мозг мне мой же голос ранит
в моей трагической Отчизне.

АЛХИМИК

В убогой келье тесно. Запах серы.
Усохший и, как сера, жёлтый маг
в реторту жадно пьется. И наг,
хохочет бес — багровая химера.

И призраков курящихся полна
сырая келья с грубыми стенами,
и тухлыми дрожащими губами
бормочет маг: «Изыди, сатана!»

Но вскрикнул вдруг старик — нет, он не пьяный,
но видит — блещет золотом реторта.
Под потолок взметнулся хохот чёрта.

И замер монастырь в испуге жутком,
и шепчутся монахи: утром рано
отец Патрикий тронулся рассудком.

МИФ

Как в проарийской книге, в славе —
челны, подкова и стрела.
Серебряная рать в дубраве
слова санскрита сберегла.

Над войском русов — время оно.
Ждут корабли у берегов.
А в небе — звёздные знамёна
и многокрылый взлёт клинков.

Василь Мысык

(1907—1983)

РУДАКИ

Старик-платан раскинул веток сети,
укрывшись от жары в тени горы.
И что ему, что стены Бухары
разрушены таранами столетий,

что пылью стал гранит, сойдя на нет,
что всех великих забрала могила,
и что ему камней гремучих сила,
несущихся с горы в потоке лет!

Давно засохли клёны, ивы сгнили,
и выдохлось давно вино в бутылки,
а он, как встал, так и теперь стоит,

готовый защитить от бурь и горя,
доказывая, что в земном просторе
есть нечто, непреклонней, чем гранит.

ХАФИЗ

«Так ответь же мне, Хафиз речистый,
чей напев звучит прозрачно-чисто,
как за мушку на щеке у панны

даришь ты легко, как два мониста,
Бухару и Самарканд искристый,
коиими владеют только ханы?

Как же так, скажи, мудрец певучий,
что, когда в глазах любимой тучи,
Туркестан накрыт грозой до края,
а едва встряхнёт она кудрями,
тотчас задрожат, как сад ветвями,
поданные в Индии, в Китае?»

«Мы, поэты, кровь не проливаем,
покоряя словом край за краем,
а в сердцах у нас простор такой,
что вмещает, кроме Туркестана,
пыль Китая, джунгли Индостана,
мир, плывущий звёздною рекой.»

РИМ

Для чего на римском пьедестале
так ретиво кони дыбом встали,
натянув поводья, словно струны?

Может, чтоб народ склонялся ниже?
Может, чтоб над ним вздымался выше
подбородок Цезаря чугунный?

СПАРТА

О, сколько их! Напряжены тела
в борьбе и в беге, в жарком состязанье!
И выкрики хвалы и порицанья
толпы, что тесным кругом обвела,

захвачена отвагой их игры,
большую площадь в солнечном сиянье,
арену, от которой видно грани
вершин Тайгетских в мареве жары.

Тиртей воспел их, это спартиаты.
За их игрой следит плугарь-илот
из зарослей, где задремал Эрот,
из-под навеса хмурой чёрной хаты.

Один бы он назвал, когда б сумел,
жестокость цели их блестящих дел.

КИТС

И кто назначил, небо, меру муки
его живой душе? Зачем дала
судьба ей два звенящие крыла,
не дав простора? И зачем разлуки

его любовь, шипами изодрав,
кровавили? Любовь к пустой девице
и к матери, стране жестоколицей,
хозяйке обезлюдевших дубрав?

О, Англия! Чужая, как темница
с решётками, что распинают свет!
Где ни любви, ни дружбы больше нет,

а всяк спешит пред шиллингом склониться!
Но как тосклив ночной чужбины бред,
когда она со сне предсмертном снится!

ОСЕНЬ

От всех амбаров на одно кольцо
собрав ключи, она, хозяйкой строгой,
придирчиво глядит тебе в лицо
со своего богатого порога.

И не вези ей с плевелом зерна,
её не сбить со счёта: сор и жито —
всё на свои весы кладёт она,
и только то даёт, что заслужил ты.

Василь Боровой

(1923)

СУДИЛИЩЕ

Судилище в подвале. Полутьма.
В крестах решёток, ёжится тюрьма.
Судья Рогожкин, жилистый, горбатый,
пилой скрежещет, ржавой и щербатой,
скрипя-читая. А ведь надо, чтоб
гром-приговор взрывал темницы гроб.

Но вот скрипит горбун: «За оскорбленье
Отца народов, за стихотворенья
о том, что Вождь — московский Чингизхан,
расстрельный приговор злодею дан
Украинским военным трибуналом.»
Прочёл — и хищным высверкнул оскалом.

А за порогом грозной той тюрьмы
стоит моя матуся меж людьми
и молится: «Узри, о Боже, муки,
не дай моё дитя убийцам в руки,
как дал Ты сына своего на крест.
Ведь Ты же знаешь — здесь не суд а месть...»

А я стою — блестят штыки из стали.
Вот так меня в поэты посвящали!

МИР В СЛЕЗЕ

Вы видели мою маму? Вон, в одежонке дырявой
Села она на камень — кто б картошину поднёс...
Словно уже перед смертью — Боже, поилуй, правый! —
Перебирает бывшее глазами, полными слёз.

Когда выбирали долю — святые все были против
лихой для неё судьбины, лишь бес прогорланил «за»...
Кружится мир в безумье войн и переворотов,
Только печаль неизменна, горькая вдовья слеза.

Пасла коров с малолетства, по инею босоножкой.
А подросла — для пана рвала подсолнух в мешки...
Но, зная, и сирот печали стучатся к Богу в окошко:
Вернулся солдат с революций — у девушки просит руки.

Вот выйдет она из завода — бегала ж на «Канатку» —
Пшеничные косы несмело упрятаны под платок.
А он цигарку притопчет. Настю, Настусю, Натку
Возле ворот обнимет, хрупкого счастья росток.

Добра у него — лишь руки, у Насти в приданное — косы.
И не напрасно трижды ухал им сын во всю мочь.
Цвет опадает над свадьбой, лето спешит на покосы.
Мужа её убили! Кто?.. Не ответит ночь.

Кто ж оборвал надежды? Наворожил беды ей?
«Иваночко мой, Иванко, кто же мне руку даст?»
Рогатый себя ли потешил? Всю ночь ли проспали святые?
«А вдовьи слёзы — на небо» — знает Экклизиаст.

Кружится мир неустанно — пылит без конца дорога,
И каждый успеть стремится на собственный крест дорог.
С работы вдова вернётся, поплачет и славит Бога
За свет и в своём окошке — растёт у неё сынок.

Вы видели мою маму? Морщинки избороздили
ласковый её облик, тишь её и простоту.
Сам Бог позавидовал, видно: пришли и сына схватили.
Нужны им на Север зэки — кайлом ковырять руду.

Вы видели мою маму... Вон, в одежонке дырявой,
Сидит она, смотрит протяжно в потусторонюю тьму.
А рядом с ней Ангел смерти, печальник с недоброй славой,
Стоит и роняет слёзы — и сам не поймёт, почему.

«НЕ РЫДАЙ МЕНЕ, МАТИ...»

То ли сон, то ли нет? Шелохнуться боюсь я...
Где-то печку топить начинает матуся.
И слезятся печальные очи любимой —
то ль от дум обо мне, то ль от едкого дыма.
Глухо хворост трещит. Время искрами скачет.
Золотинками слёз печка с мамою плачет...
Долго молится мать — обо мне в Норильлаге,
где сполохи небес багрянеют, как флаги.
Полночь к маме сошла, как апостол с иконы.
Тяжки, Боже-Христе, в Твоём мире законы!
...Вскинусь с нар, как из гроба — до боли в утробе:
«Не рыдай меня, Мати, зрящи во гробе».

Норильск

ВСПОМНИЛОСЬ

Во двор въезжали с матюками
и брали, брали — всё до тла!
Под вой собачий с «кулаками»

боролась «Красная метла».
— Куда ж мы? — нет лица на маме.
Метла смеялась — и мела.

ДОЛЯ

Конвоя крик и вой овчарок,
И пыль столбом — колонны ход...
И день твой, словно недогарок,
Холодный гасит небосвод.

Впервые что ль — ордынца злоба,
Гортанный окрик, плеть-нагай?
Гляди же веку в очи в оба —
Не отставай, давай, давай!

А в сердце всё ж, помимо воли,
Не гаснет присказка, мудра,
О казаке, что не без доли,
О доле, что не без добра.

* * *

Жаринка, искра зверобоя,
О как мне там тепло с тобою,
Где речка кроткая течёт,
Где из яруг сочится морок,
Где сотню перемножь на сорок —
И то не всем печалям счёт!

* * *

Вывели из дому. Ой, не вернусь!
В ночь отступает родная околица.
За Украину — сынов твоих, Русь, —
Матушка, став под иконою, молится.

Сон нависает над шляхом замком.
С шорохом вслед мне осока склоняется.
Белым платком, по-над крышей дымком,
Отчая хата со мною прощается.

Лина Костенко

(1930)

* * *

Ты смотришь вслед. А я уже — на трапе.
Слов нет. Зато печали — через край.
Жизнь движется по «Гауссовой шляпе».
Вчера лишь — «здравствуй», и уже — «прощай».

Прощай, прощай, чужой мне человеке!
Прощай. Тебя роднее не найти.
И эта та единственная встреча,
когда спасенье в мужестве — уйти.

* * *

Снега в снегах. Над речкой — льды литые.
И вербам руки холодом свело.
Бежит волчица — мать — соски пустые,
косясь зелёным глазом на село.

А то село — как призрак-погорелец.
И смерть прошла лесами напролом.
Несутся тучи. Кривит губы месяц.
И воем в ночь волчица за селом.

* * *

Там есть, вдали, гора, где молчаливы птицы.
О горе той горе, и горе тем лесам!
Когда-то там прошли охотники-убийцы,
приказывая дичь нести послушным псам.

И оборвалась жизнь такой певучей птицы,
что занемело всё, и смолкли те леса.
Доныне лишь паук над сетью суетится.
О горе, о гора, отдай им голоса!

* * *

Не спорь, пустым словам не прекословь —
они уйдут. А в рифме — жизнь и жито.
Поэзия есть праздник, как любовь.
О, это не беспечный лепет быта!

Не перезвон и не ассортимент
метафор, слов — на пользу ли, в угоду.
А что, не знаю. Я лишь инструмент,
что плачет снами моего народа.

* * *

Не этим Днестром ли челны византийские плыли?
Царевна плыла, и ей был восемнадцатый год.
И мифы ль о ней записали писцы или были?
Король её сватал, и викинг, и русич, и гот.

Там вид на сияющий Днепр так просторен и дивен!
Там зеркало славы в глаза ещё кривдой не бьёт.
И Киев стоит. И стоит, камня, Владимир.
И в памяти их молодая царица плывёт.

Василь Симоненко

(1935—1963)

47-Й ГОД

Забылось и обид, и споров лихо.
Но помню я, как в том голодном дне
душистым цветом пенилась гречиха,
и аисты топтались по стерне.

И люди, так же мертвенно, как птицы,
шли с дедовскими косами на лан.
И опускали сокрушённо лица,
чтоб, зубы стиснув, «обеспечить план».

И плакали вдовицы, дети «хлеба!»
кричали над бурдой из желудей.
И, словно бы уже бесплотно, в небо
скелеты шли, герои трудодней.

И не забыть мне взгляд мужицкий хмурый
и матерей в испуге и тревоге,
когда всё ввали вы, писаки-шкуры,
о счастье тех, кто падал у дороги.

ПОЭТ

Я жил не раз, хоть не в одной оправе,
и умирал, и снова воскресал,
и из сердец людских огонь кресал,
а боль смирял мужанием в октаве.

И там, где все вы глаз поднять не смели
от кандалов тюремных, от оков,
Мартыновы из ваших тёмных снов
мне снова в грудь стреляли на дуэли.

Я устоял. На привязи железной
держали холуи меня, как пса,
и мучили в дыре холодной, тесной,
забросив в зауральские леса.

Но раной оставаясь и мишенью,
я не пошёл к нечистым в услуженье.

МОЖНО

Можно верить другу или милой,
грезить наяву или во сне,
близне июньских нежных лилий
улыбаться в разогретом дне.

Можно жить, а можно в тусклой стуже
вымирать, как тупиковый вид.
Но не в силах словом тронуть душу
те, кто не пылает, не горит.

Люди ищут смысла всё упрямей,
хоть глаза их искони тревожны.

А витают, смерть поправ, над нами
смеющие то, что «невозможно».

Я

Не знаю — силой дьявола иль Бога —
завет большой печали правит мной:
душой тянуться к радости земной
и правду говорить в оскал бульдога.

А хочется, закрыв свои глазищи
проклятые, забыть о яви-зле,
дом завести, окуклиться в тепле
и улыбаться, словно дурень нищий.

Но только сердце, сердце ненарочно
сжимается пекучей болью, точно
в отчаянье готово умереть.

И шепчет кто-то (может, совесть) властно:
— Не смей идти дорогой той несчастной,
она — не жизнь, а смерть.

Петро Осадчук

(1937)

* * *

Те ясени, что мой отец сажил,
а я срубил — зима была так люта!.. —
я не прощу себе и не забуду,
пусть и никто меня не осудил.

Те ясени опять позвали ввысь,
расправив парус осени багряный.
Они над пеплом прежним поднялись,
над незажившей рубленою раной.

Те ясени, что мой отец растил,
своим теплом меня спасали в стужу,
чтоб я, сквозь годы, память опалил,
опять услышав их живую душу.

Те ясени — любовь и боль моя.
Им надо мной высоко подниматься.
В пыланье крон узнают сыновья
багряный отблеск отчего богатства.

* * *

И гаснет тело. Тает, как свеча,
самосожженью верная отвеча.

И небо, тяжелея у плеча,
всё ниже к почве клонит человека.

И гаснет тело. Ночи всё длинней.
Фитиль свечи короче и короче.
Огонь и воск — уже на самом дне,
и жизнь взлетает на орбиту ночи.

И гаснет тело. Глуше пустота.
Свеча потухла — дым беззвучно взвился.
Но жизнь твоя сгорает неспроста —
и свет земной в другой душе продлился.

Слабеет тело. Тоньше, тоньше нить...
Но что за чудодействие с душою?
Душа не гаснет. Всё ясней звучит,
звения струной меж небом и землёю.

* * *

Снова день минувший подытожу,
отмеряя новую межу...
Отчего о нём печалюсь всё же,
будто о всей жизни я тужу?

Дни мои с осенними очами,
с жаждою весеннею в груди,
сколько вас, ушедших, за плечами,
сколько вас осталось впереди?

Дни мои, меняюсь вместе с вами,
всё нежнее касаюсь я земли.
За плечами — кони табунами,
впереди — прощанья журавли.

Владимир Затулывитер

(1944—2003)

ТЕОРИЯ КРЫЛА

Вставай, отец! Зовут крыла плугов,
как ранних птиц щебечущие стаи.
И Ворскла из зелёных берегов
ведёт разливы вод на первотравье.

Вставай же, батько! Слободская степь
полна до неба клёкота и клика!
И светит материнский честный хлеб,
как солнце, и белеет пеной кринка.

Вставай, и все приметы всех годов
напомни сыну своему в дорогу:
коль дождь в июне пахнет — жди медов,
а пар над полем — будет жита много.

Всему учи, рука твоя легка,
колодец ли копать иль хату ставить.
Ведь жить нам бесконечные века,
и род наш не иссякнет, не устанет!

За взлётом птиц в тугих потоках света
следит твой сын. Его пора пришла,
чтоб этим утром верною приметой
начать свою теорию крыла.

СОСЕД ПО САНАТОРИЮ

Он сед и кряжист. Он годами старше,
но не намного. Возрастом — на жизнь.

Матросские ступни — метровой меры —
впечатывает в почву крепко так,

что лайнеры в следы его садятся,
а в дождь — заходят корабли, как в порт.

НЕВЕСОМОСТЬ

Боюсь летать во сне. Земля на взлёте
уходит от меня волной тревожной;

и всё быстрее, всё опасней тело
теряет вес; и мысли — словно пух;

и я — бесплотный, лёгкий — просыпаюсь
от страха: оторвался от земли!..

ДРУЗЬЯМ, МОЛЧА

Я вам не вечный, нет. А вы всё пойте
себе. Я вам оттуда... подпою...

А вы всё пойте. Можно и в миноре —
про чайку, про калину, про вдову.

Вы пойте, други, без обид, без гнева,
что вас не долюбил я, а допел.

* * *

Во всём — земля. И в брызгах чёрной грязи
у яблок на густом румянце щёк,

в сентябрьской тропке на моих подошвах
и в ласточкином брошенном гнезде.

И даже в пыли той, что мхом покрыла
нечитанные книжки, — всё земля.

АЛХИМИЯ ИНЕЯ

Цветастым шагом ямбовым иду,
скрипит, поёт стихами
снег крахмальный.
Тебя качают сосны на лету,
тебя в себе,
во мне заколыхали.

И в этом сне, у яви на виду,
ты голубеешь золотом
сквозь воздух.
Настоян на коричневом меду,
шумит мой бор
в мажоре мачт морозных.

И подголоском шуму — звонко бьёт
в студёный бубенец
юнец-синица.
Счастливый бор! Он снегом заметёт —
мой след и сон,
и явь, что только снится...

ПАМЯТИ ОЯРА ВАЦИЕТИСА

Рыбацкий хуторок.
Тут нету неба и земли.
Тут море высоко. И высь глубинна.
Язычества зелёных молний
железо цедают из меня.
И тем железом да по мне же пишут
искрящие стрибожьи имена.
 ...Но не к тебе я шёл,
 скороговор грозы.
 Я, неосторожный,
 нашёл то, что хотел:
 костёр на берегу песчаном.
 ...И я не твой двойник, огонь.
 А просто — я пришёл спросить,
что так безмолвно, как в ушке иголки,
что так безмолвно стало вдруг
у Вацietиса в стихе?
Вот в этих строчках:

Нет, я не стану есть свой хлеб
так, словно жрёт костёр сухие ветки...

* * *

Заточил карандаш —
словно сердце оголил:
промерзает оно
до чёрного уголька —
на вихрях радиоволн,
на сквозняках неуютной
розы ветров.
Пусть бы нашлось

такое-сякое,
наименьшее,
найтишайшее,
да хотя бы немое
нелукавое слово —
одеться во чью-то душу.

* * *

Шёлковая ласточка любви
слепила у меня в груди
из медовой глины детства
тихое гнездо сердца.

Пощекотала усы крыльями,
высидела слепые, беспёрые,
в жёлтых заедах
воспоминания:

сивый воронok везёт в село
арбу снопов,
такую высокую,
что колосья остями
цепляются за ветки созвездий
и осыпают меня, поднебесного,
зернистыми метеорами.

А конёк,
раз за разом останавливаясь,
долго и сладко пьёт
росяные родники
ласковых, как подорожник,
девичьих следов.

СЧЁТ МИНУТ

I

Накатит волна ночная,
под сердцем встанет,
замрёт —
и через мгновение,
не в силах стоять,
отхлынет в Днепр,
ничего не взяв с собою.
Разве что зачерпнув тишины из души —
и громче зазвенит железо
в груди у сверчка,
гуще басом баржи заревут.

II

Течёт и течёт во мне мать, как река.
Навстречу времени течёт
не в море,
из моря — в меня.
Слов терпеливую соль
выносит
на берег сердца —
соль багряную,
что и на лезвие сабли,
как на устах,
единым именем вскипает.

III

О чём им сегодня думается,
моим завтрашним словам?

Декабрьский вечер острыми фрамугами
стружит и стружит хлопья снега
из ресниц, окаменевших до души.
До тех пор, пока сердце древесины
заполночного часа
тихо и ласково, как новогодняя свечка,
не озарит, словно мою собственную,
старинную банальную истину:
чтобы не забыть — загляни в будущее,
хочешь дойти — оглянись в былое.

Василь Голобородько

(1945)

НАША РЕЧЬ

Каждое слово
нашей речи
пропето в Песне
песенными теми словами
в кругу побратимов говорим

каждое слово
нашей речи
записано в летописи
пусть не знают враги
какими словами
в одиночестве молчим

ИВАНУ

Иване,
нам не отвертеться:
пули, выпущенные палачом,
приставлявшим наган к затылку
осуждённым в 34-ом году,
нажимавшим что ни день курок —
до онемения пальца —

летят ещё и доныне
и попадают нам в лицо.

ДАВНЕЙ СОБЕСЕДНИЦЕ

Там мы ходили,
там мы ходили,
разговаривали:
ты была горлицей,
я же был гаем,
отзываясь эхом
на твои слова.

Там, где мы ходили,
пролежала тропка,
тропка к необычному дому:
золотая крыша,
серебряные окна.

В тот дом мы так и не зашли:
то ли поздно уже было,
то ли ещё рано —
ибо двери были заперты.

Но я и доныне, пешка-пешеход,
надеюсь
допрыгнуть конём
под высокое оконце
за дорогим подарком —
девичьим перстнем —
и не разбиться.

Виктор Бойко

(1946)

ИЗ МГНОВЕНИЙ

Увидишь на стыке двух улиц
в маршрутах трамвайных и пешех
те лица, что словно вернулись,
и взгляды, и жесты ушедших.

Рванёшь к ним с приветом и вестью
по зебре, по рельсам трамвая.
И вдруг занемеешь на месте,
себя среди них узнавая.

* * *

Порой хватает крохотки тепла
хотя бы в многословье фраз цветастых,
чтоб ты светился сквозь мороз от счастья,
как белка возле полного дупла.

Декабрьский день.
Как будто двадцать пятый.
И в нём стоишь ты — срубленной сосной,
ещё зелёной и вполне живой,
но с кроною непраздничной, примятой...

* * *

Грохочут тягачи (в армейском цвете хаки),
и падает стена на спину, вверх лицом.
И лают из двора соседнего собаки
с негородской совсем, голодной хрипотцой.

Динамик со столба о новостях вещает.
Грохочут тягачи, и всем не в новизну,
что сносят вновь село, что город наседает.
А я подумал — фильм снимают про войну...

Василь Моруга

(1947—1989)

АВТОПОРТРЕТ СКВОЗЬ ВЕКА

И день забытый вновь меня поманит,
на миг загадку высветив свою,
но я лица сквозь толщу расставаний,
как через глубь воды, не узнаю.

Орда, крича, промчалась над пожаром.
Прошла орда — дрожит вода до дна.
Но отчего над светом тёмнокарим
так явна в глубине голубизна?

Я помню колыбель прибрежной кручи.
Откуда же во мне степная стать?
И чей мотив, нездешний и тягучий,
в исконном слове слышен мне опять?

Тот человек — вдали — растил ли колос
иль, может, гнал оврагом табуны? —
Мой, сквозь века и сечи, первый голос,
мой проблеск из бездонной тишины...

* * *

Был глупым рыжий ласковый щенок,
доверчивым. А говорили — дикий.
У ног вертелся. Пнут лениво в бок —
он — словно бы недоумённо-тихий
и тут же всё прощающий упрёк.

«Ищи друзей среди своих, пострел!»
Но, по-щеньячи безоглядно смелый,
весь этот взрослый мир любить хотел он.
А мир? — а он плевать на то хотел.

Он мог бы выжить — поумней живи.
Но тут как раз осеннее открытье
сезона. Вы охотников поймите:
где дух добычи — там не до любви!

Его терпели чуть ли не полдня —
всю дичь бы распугал, ластясь да лая...
Любовь моя, среди какого мая,
чьим выстрелом ударишь ты в меня?..

* * *

Над сумерками властвовал минор,
густела синева бульваров сонных.
И был чуть слышен листьев перебор
в дремотных липах и уснувших клёнах.

И прятал город в сумраке лицо...
Как вдруг блеснула в конусе фонарном
мальчишек стая — звонкое кольцо —
что шли, танцуя, замершим бульваром.

Из круга золотого развилась
живая лента танца. Над гудроном
транзисторная музыка лилась
и поднималась к полутёмным кронам.

И праздника внезапного свеча
зажглась так ярко в сумраке унылом,
и радость — потому ли, что ничья? —
так щедро тусклый город осветила,

что и теперь в миноре вечеров
(а сколько дней с тех пор минуло все?)
вдруг оживёт та стайка школяров,
на замершем бульварчике танцует...

КАУНАССКИЕ КОЛОКОЛА

Седая башня затаилась хмуро,
и вдруг, как стая всполошённых птиц,
над хрустким сушняком клавиатуры
взлетели пальцы и метнулись вниз.

И взмах другой — как будто догоняя,
но не догнать уже и не уйти —
так колокольных перезвонов стая
малиново блеснула с высоты.

Так музыка промчалась вдоль квартала,
над улицами утренних дымов,
так юность поседевшего металла
проснулась в голосах колоколов,

та, что влекла к высотам за собою
сады, дворы, всех жителей земли...

И только лишь брезгливые губою
к той выси прикоснуться не могли,

где полнится закат волной печали,
где множит радость ранняя заря...
О, как скрипели тяжкие педали
на башне под ногою звонаря!

В тех звонах счастье и тревога пели.
И нам Господь сполна простит долги
за музыку. Неважно, в самом деле,
что так скрипят натужно рычаги!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Саркису Григоряну

В краю, что нравом юн и лучезарен,
среди наследий вековых книг
есть человек — ему я благодарен
за то, в нём народ его постиг.

Народ, который в тридесятом горе
достоинства не предал своего.
Высокий и певучий, словно горы,
отечески укрывшие его.

Гонимый и терзаемый веками,
сберёг он веру гордую в очах,
непобедимо твёрдый, будто камень,
открытый, словно небо в тех краях.

И не подскажут строгие могилы
и жёсткие кремнистые поля,

как в нём такую щедрость породила
суровая и скудная земля.

Иль тем она сама стоит — скупая,
горбатая, изъеденная ржой —
любой частицей почвы сохраняя
побег добра — за каждую душой?

Не знаю. Но народ, что сердцем храбро
огонь и песню воедино слил,
я смог бы полюбить за то хотя бы,
что он мне верность друга подарил.

Анатолий Перерва

(1949)

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬКОВСКИЙ

Вековечные степи. Донца разогретые плёсы.
Зелень летних левад. Вишняки. Голубая полынь.
И скрипят неустанно чумацкого воза колёса,
и светлы небеса, повенчавшие солнце и синь.

Где же Ваша, художник, бессмертная «Гибель Помпеи»?
Где холсты о лазурной и царственной Рима поре?
Где сановников звёзды, вельможных вояк портупей,
где спесивые лики сановных особ при дворе?

Он молчит. На холстах — слобожанские ветхие хаты.
И дворы, на которых лишь ветер да куст бузины...
И богаты не золотом, лишь степью и небом богаты,
не по римским дорогам бредут его яркие сны.

Вот он солнце, как яблоко с ветки Муравского шляха,
катит кистью в подарок чумазой босой детворе.
Вот он кличет Голоту на сечу с османом и шляхтой...
Он придворный художник. Но не при царёвом дворе.

Он молчит и рисует. Как луч среди ржи васильковой,
кисть его озарит небеса — те, что в каждом из нас.
И под каждым рассветом есть подпись его «Васильковский».
Только знают об этом лишь небо да завтрашний час.

ДОБРО

Суета. Сестра не видит брата.
Брат не помнит голоса сестры.
А бабуся села возле хаты,
приласкала внуковы вихры.

И молчит... Всё не было ей дела
до погонь за счастьем. Просто так —
хлеб пекла, про гай зелёный пела,
чернобривцы сеяла и мак.

Вытирала синим ветром очи,
у криницы наполнила ведро,
проводжала сына в стужу ночи
и ждала, и верила в добро.

Усмехались мудрые соседи —
доброте, мол, не пришла пора.
Чтобы не пропасть на этом свете,
не зевай да наживай добра!

Но она иной судьбой дышала,
и щедра была её душа.
У дороги мальвы поливала —
для красы, а не для барыша.

И вилась её коса вишнёво,
и цвело её добро — для всех!
Как вода колодезя степного.
Как Отчизна. Как ребёнка смех.

Игорь Рымарук

(1958—2008)

ГРЕШНИК

Евгению Пашиковскому

Господь меня простит: несправедно я жил
и только тех любил, кого любить по праву
не мог. И от ножей в стихах не уходил.
От своего креста спасенья, как Варава,

у люда не просил. И вот Господь меня
простит. За чёрный хмель. За все лебяжьи плечи.
За сумасбродных птиц. За острый камень дня.
За яблоко-налив, что головой Предтечи,

на блюдо упадёт. И, говоря, Господь
меня простит... А нет, не сможет — и не надо:
сметёт, смахнёт тряпьем, что называлась — плоть,
весь сор плодов и слов подоблачного сада.

ВАРИАНТ

Что — снова стыд очей упрятать в руки?
Мороз трещит иль рёбра под пинком?
Какой же снова муки взыщут звуки,
дабы не задохнуться под замком?

Где долгожданный загулял апостол?
Куда его худой башмак забрёл?

Он не нашёл обетованный хостел
и бороною подметает стол.

* * *

Зачем твой шёпот: не забуду..
Зачем твой стих — разменный грош?
Суда несправедного, блуда
в себе вовек не изживёшь.

Ни шалой, ни оседлой кровью,
ни дрожью в тягостных руках
не отведёшь от изголовья
Пречистой Девы в синяках.

Не спас в себе знамений высших —
тебя и гибель не спасёт:
не сыщешь и средь гиблых выжиг
ножа случайного джек-пот.

РОЖДЕСТВО

множится заря
в твёрдых снегах в зеркальных стенах
сбились с дороги
трое царей в маскхалатах

развивает пречистая клубок
узелки тихо вяжет

усталый плотник дремлет
при щербатой секире

око фонарика
вырывает из тьмы великанские ясли
обогрелся младенец
под боком у минотавра

Ирина Мироненко

(1960)

* * *

Двадцать лет миновало.
Коньяк не разлит «Жан-Жак».
За обоями ссоры живут и тирады признанья.
Я устала читать в каждом новом намёке знак.
И семь роз притопила слепыми щенятами в ванне.
Будем рады годам, как туману — седой конокрад.
Сколько спрятано нами — наружу не вытянут кони.
Что-то ж мы сберегли, как до самой весны виноград.
Вон как гроздь тяжелеет у выросшей дочки в ладони!

* * *

«Ближайшей ночью Украину накроет холода волна» —
услышу новости. За рамой, озябнув, съёжились кусты.
Покуда город примерзает к студёной плоскости окна,
прижмурились беда с тревогой, печные чёрные коты.

Не нас ли, пару птиц залётных, в чужое занесло тепло.
уже и город дышит в душу, как давний огонёк степной?
Неважно, что холодным кругом на небе месяц обвело,
весна перебирает зёрна для пашни завтрашней парной.

Иван Малкович

(1961)

КЛЮЧ

Я потерял свой ключ: сосновую иголку
назвал своим ключом и обронил в траву.
И вот который день без карты и без толку
прочёсываю лес до позднего «Ау».

«Найду иль не найду» — терзаюсь, словно Гамлет.
А был ли ключ? И дом, стоящий на песке?
Опять ищу весь день. А вечер хвоей пахнет,
сосновою иглой, растёртою в руке.

СТРАНА СОЛНЦА

Убийца варит знахарское зелье,
вахтер безглазый стережёт короны,
банкир играет рифмой-канителью,
и шьёт поэт на бедность панталоны;

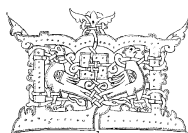
путаны, тенора и футболисты
седлают трон. Отличница умело
для спонсоров на льду танцует твисты.
И, словно сыч, хохочет Кампанелла.

СОН СО СВАДЕБНЫМ ХЛЕБОМ

Три кукушки на хлебе, но есть недопёк — потому
бричка с князем-княгиней просела в провал паляницы;
и мягчайший, высокий, увлёк каравай в свою тьму
жениха и невесту, кукушек, свидетелей лица
и всё то, что назавтра загадано свадьбой ему;

и когда долетит от той брички подков перезвон,
всё, что в тесто запало, воскреснет порою ночью,
и над хлебом насущным с княгинею князь, словно сон,
закружат, будто хлеба душа закружится со мною...

«И Бог сказал: «Живи, если жив...»



*переводы
с белорусского, болгарского,
боснийского, македонского, польского,
сербского, словацкого, словенского,
хорватского, черногорского, чешского*

С белорусского

Рыгор Бородулин

(1935—2014)

* * *

Больше мыслей — тревожнее сутки.
Зреет мудрость и множит печаль.
Крутит время туман-самокрутку,
лиловее лугов пастораль.

Луч познания и зорко, и зримо
в разнотравье дробится, цветёт,
в мотыльке, пролетающем мимо,
ловит смысл и душе отдаёт.

Но почувствуй, горчащей приправой,
привкус лета, уплывшего вдаль.
Над покосом, над лугом — отавой
всходит поздняя мудрость-печаль.

* * *

Идущие на смерть — да будут жить!
Они приходят, чтобы тьма исчезла

и чтоб клыки ощеренного беса
отвагою возмездья сокрушить.

Дай, Боже, воли воинам добра.
Бесстрашные не могут быть рабами.
Пусть челядь в ноги бухается лбами
тирану — безнадёжна их игра.

Да не померкнет праведников свет,
их кровь в веках продлится без забвенья.
Отчизны честь, Родимой возрожденье —
её сынов и клятва, и завет.

2011

Аксана Спрынчан

(1974)

* * *

Создана
из ребра
верлибра,
надкусываю
райское яблоко.
Вкус свободы
с привкусом железа.

* * *

Черчу
крестики в стихах —
вышиваю
своих поэтов.
И выживаю
вместе с ними.

* * *

Выбираю бульбу
и выбираю
Беларусь.
Не хочу другого рая.
Да и ада иного не надо.
Так же точно думают
и колорадские жуки.
Вот-вот начнётся
сезон борьбы
с единомышленниками.

*С болгарского**Николай Лилиев**(1885—1960)*

* * *

Дождь, весенний каплепад
Вновь звенит железом крыши.
И опять весне я рад,
Все надежды переживший.

Тихий дождь, весенний день —
Трепет трав и шёпот ласки.
Вдаль плывёт цветная тень
Невесомой зыбкой сказки.

Слёзы капель, искр испуг,
Молодой природы тело.
Стоит ли считать, мой друг,
Сколько искр с дождём истлело?

* * *

Луч рассвета, перезвоны.
Прочь ночная тьма ушла.
Махаоны, махаоны,
Серебристые крыла.

Синь безбрежна и исконна.
У оконного стекла
Расцветают махаоны.
Серебристые крыла.

Изумруд листвы зелёной
Сеть ветвей в узор вплела.
Махаоны, махаоны,
Серебристые крыла.

Красимир Георгиев

(1948)

ПО ТУ СТОРОНУ РЕКИ

Приготовься к короткому плаванью
в безмятежность, в забвения край.
На челне над космической гаванью
понесётся душа твоя в рай.

Спор со смертью — занятие пустое,
да, похоже, и времени нет.
Ни забот, ни кредитки с собою
не бери в измеренье иное,
лишь гребцу — пару медных монет.

ИЗ ПОЭМЫ «ПОСЛЕДНИЙ БОЛГАРИН»

О, Болгария — горы в лесах, кипень рек, белых хаток соцветия.
Груз руин над добром и над злом. В язвах — Книга спасения.
Рвусь всей жизнью к тебе, но дороги — длинней, чем столетия.
Половина души нашей — свет, а вторая — и грех, и смятение.

Вот мы, дети заветной земли, а над нами — мутанты-правители,
круг стервятников в жажде пожив. И всё щерятся
бесы прошлого в очи грядущему. Лику Спасителя
об Отчизне молюсь. И по вере, по вере — отмерится...

Елка Няголова

(1952)

ПОДСОЛНУХ

Я ныне — словно сентябрьский подсолнух.
на плечи склонила отяжелевшую голову,
и сыплются мысли —
семенами наверняка уже зрелыми...
А что ни ночь снится мне снова
зелёное платье на стройном стебле
и золото минувших дней — уходящее...
Птица по капле выклёвывает слова,
повторяет их потом по слогам —
сбиваясь, пересказывает солнцу вести
из чужой жизни —
почти уже безразлично...

ПЕРВЫЙ СНЕГ НАД ВАРНОЙ

...А случилось это так:
Божья мать в небесах
крошила наибелейший хлеб,
чтобы приготовить Господу пудинг.
И посыпался вниз первый снег —
укрывая
и берег, и мосты, и море,
и моряков, что, отплыв вдаль,
уже едва
могли видеть
свою Итаку...

Лора Динкова

(1988)

ПУТЬ

Радуга то угасает, то разгорается,
лишь одинокий Бог создает мир.
Полуреально, словно сомневаясь,
удержит ли хрупкая жизнь
тяжесть одиночества...
Лирическое введение в мир
есть всего лишь повод,
чтобы наполнить истиной
множество идей и понятий
несовершенного (и смешного) человека.
Смотрю сквозь увеличительное стекло
снаружи,
осторожно приближаясь к душе;
от глаз моих поднимаются
полусонные закаты веков.
Я давно приблизился к ней,
уведите меня указующим перстом,
чтобы я прошептал еле слышно:
ничего не было под стеклом!

УСПОКОЕНИЕ

(Ребенок, моргнув незрячими глазами,
вдруг увидел одиночество).
Теперь моргаю среди людей и часто теряю опору.
В паузах — сквозь отверстия слов,
я рассказываю сказки мертвым;
другим — оставляю только робкий шепот.
Мы не уступили дорогу
друг другу,
и тела наши неловко столкнулись,
наши руки, наши глаза
и вслед за этим — остаются сиротами.
«Спокойно» — шепчу я тебе на ухо —
второй раз это не пройдет!».

С боснийского

Мак Диздар

(1917—1971)

* * *

Сожму узду коня — под самую улыбкой.
На солнечном лугу зеленогривый конь
касается небес летучей рысью зыбкой
и сыплет из ноздрей желания огонь.

Вскочу на скакуна из бешеного мяса,
из лёгких облаков просторного чела.
За девушкой-судьбой, с кобылей негой глаза,
несётся чур-ручей из золота и зла.

Настигну я её, красавицу. А птицу
на волю отпускаю. Я в воду и в огонь
с годами всё верней готовлюсь превратиться.
Гашу ресницы звёзд. Смотрю в родные лица:
ручей, ночной костёр, чабрец и брат мой, конь.

ГАРМОНЬ

По улице Сараева — слепой
брёл с пыльной изношенной гармонью.
И нотных кнопок скрип и разнбой
рождал почти что плач в надрывном тоне.

А уличный бродячий мальчуган,
смеясь, под эту музыку печали,
плясать пустился, счастьем обуюн,
в своём, ему лишь ведомом, астрале.

И он плясал, как будто пел: «Живу!»,
под жалобу слепой гармонии зыбкой,
пока, уже без сил, не лёг в траву
и не уснул с блаженною улыбкой.

С македонского

Ацо Шопов

(1923—1982)

ПРОЧТЕНИЕ ПЕПЛА

Пылай, тревожный стих, в огне, что был зажжён тобою.
Когда слова моей души, сгорев, уйдут в золу,
я тёплый пепел их прочту, завещанный судьбою,
дабы вернуть и век челу, и новый взмах крылу.

О, песня, ты — из клювов птиц моих кровей летучих,
ты — из багряных облаков и воспалённых вен.
В непримиримости начал, в быстро-мятежных тучах
восходит солнце, как завет грядущих перемен.

И я, ушедший от икон, от смутного их гнева,
опять — воитель той мечты, что словно остриём
копья, на камне чертит суть, скрипичный ключ напева —
не по канону, может быть, но о своём, живом.

Мой звук, мы вновь — два мира, мы — две разные планеты,
мы — два воюющих клинка из стали голубой.
Кто победил? Кто побеждён? Кто пьёт из губ рассвета?
Сгорай, тревожный стих, в огне, что был зажжён тобой.

ДОБРОЙ НОЧИ

В сумерках умирает что-то летучее.
нечто, не имеющее имени.
Кто-то пьёт чёрное молоко из тучи,
а кто-то прямо из вымени.

ЛЮБОВЬ

Заставляешь меня быть
таким, как я есть.
с ласковой усмешкой
направляешь на меня меч.
И я становлюсь, как любовь,
как твоё невинное сердце.
как сама доброта,
как малый ребёнок.

Но чужому сознанию
ты недоступна,
знаю твоё упрямство. —
Вот я обнажённый,
словно вдохновение,
стою перед тобой.

С польского**Адам Аснык**

(1838—1897)

* * *

Люблю тебя! О, это слово
Неповторимой чистоты!
Ведь день весны вернётся снова,
Чтоб в сердце разбудить цветы?

Ведь должен я, поверив чуду,
Воскреснуть Лазарем опять?
И свет, летящий отовсюду, —
Твой образ солнечный, — принять?

Люблю тебя! Возможно ль это?
А вдруг обман и ложный знак?
О, нет! Я вижу луч рассвета
И ночи побеждённый мрак.

И всё во мне — живей, свежее.
И на душе растаял лёд.
Я верю вновь в любовь — и с нею
К нам обновление придёт.

Люблю тебя! Вслед сновиденью
Явь расцвела в садах надежд.
И мир, как в первый день творенья,
весь бел от свадебных одежд.

И вновь, душою окрыляясь,
Лечу над скверною земной.
И Елисейских гроздей завязь,
весь первородный рай — со мной.

Ян Каспрович

(1860—1926)

* * *

И влюбилась душа моя снова
В тихий трепет и шелест дерев,
Когда в кронах подлеска ночного
Зазвучал друга ветра напев.

И влюбилась душа моя снова
В рокот волн, в их раздумье-печаль,
Когда гонит их волей суровой
Друг мой буря в кромешную даль.

И влюбилась душа моя в токи
Ранних зорь, что алеют над ней.
Друг мой солнце встаёт на востоке
Пламенеющим сторожем дней.

И, влюбившись, душа моя водит
С тьмой ночной хороводы, когда
Друг мой смерть на охоту выходит,
И в испуге немеет звезда.

Леопольд Стафф

(1878—1957)

НАДЕЖДА

Я вызнать захотел из Зодиака
Свою судьбу, земной юдоли даль,
Но там, средь звёзд, не отыскал я знака
О том, что стихнет дней моих печаль.

Опять стучат и дождь, и ветер в двери,
Вослед вчерашней буре и дождю.
Но я надеждой жив и снова верю,
Придёт всё то, чего так долго жду.

И дверь свою оставил я открытой,
Есть тайная уверенность во мне,
Что радость с винной гроздью грановитой
Войдёт в мой дом в вечерней тишине.

Юлиан Тувим

(1894—1953)

СЧАСТЬЕ

Мне мир не интересен.
Красоты городов
Мне не расскажут больше,
Чем шорох сорняков.

И мне не интересны
Магистры ста наук.
Мне дорог первый встречный,
И он мне — лучший друг.

И не нужны мне книги —
Спешу меня стыдить —
Я знаю и без книжек,
Что означает жить.

Под деревом усядусь,
спокоен, одинок.
О, жизнь! О, моё счастье!
Как славить Тебя, Бог?

Вислава Шимборская

(1923—2012)

В АЭРОПОРТУ

Бегут друг к другу с раскрытыми объятьями
и кричат смеясь: «Наконец! Наконец!»
Оба в тяжёлой зимней одежде,
в грубых шапках,
шарфах,
в рукавицах,
сапогах,
но только для нас.
Ибо друг для друга — обнажены.

ЛАДОНЬ

Двадцать семь костей,
тридцать пять мышц,
около двух тысяч нервных клеток
в каждой мочке наших пяти пальцев.
Этого вполне достаточно,
чтобы написать «Майн Кампф»
или «Приключения Винни Пуха».

К СОБСТВЕННОМУ СТИХОТВОРЕНИЮ

В наилучшем случае будешь,
моё стихотворение, внимательно прочитано,
комментировано и выучено наизусть.

В худшем случае —
только прочтено.

Третья возможность —
сначала написано,
но через минуту выброшено в корзину.

А есть у тебя ещё и четвёртый вариант —
ненаписанное, ты исчезаешь,
довольно мурлыча что-то себе под нос.

ПРИНУЖДЕНИЕ

Съедаем чужую жизнь, чтобы жить.
Свиной труп с покойницей капустой.
Меню — это некролог.

Даже самые лучшие люди
должны что-то убитое грызть и переваривать,
чтобы их деликатные сердца
не перестали биться.

Мне не легко совместить это с добрыми богами,
разве что легковерные,
разве что наивные,
всю власть над миром они отдали природе.
Она же, безумная, ловит нас на голоде,
а там, где голод,
там невинности конец.

К голоду сразу подключаются чувства:
вкус, обоняние, осязание, зрение,
ибо нам не всё равно, что за блюда мы едим,
и на каких тарелках.

И даже слух задействован
в том, что происходит,
поскольку нередко трапезы
сопровождаются весёлою беседой.

Адам Загаевский

(1945)

БЛЕЙК

Вижу Вильяма Блейка,
встречающего что ни день
ангелов в кронах деревьев,
Бога-Отца на ступенях скромного дома
и замечающего свет в грязном закоулке,

Блейка, умирающего
с радостной песней,
в многолюдном Лондоне,
городе шлюх, адмиралов и чудес,

Вильяма Блейка, труженика-гравёра,
живущего в бедности, но не в унынье,
принимающего пламенистые знаки
от океана и звёздного неба

и не теряющего надежды, ибо надежда
всегда рождается заново, словно дыхание:
вижу тех, кто подобно ему,
идёт всё более сумеречными улицами
к розовой орхидее рассвета.

ЭМИГРАНТЫ

В чужих городах появляемся на свет,
называем их родными и недолго
восхищаемся их стенами и башнями.
Едем с востока на запад, а перед нами
катится огромный обруч пылающего солнца,
сквозь который легко, словно в цирке,
прыгает дрессированный лев. В чужих городах
вглядываемся в творения давних мастеров
и без всякого удивления узнаём свои лица
на старых полотнах. Мы уже приходили
в этот мир и даже знали в нём страдания,
нам только не хватало тогда слов.
В православном храме в Париже последние белые,
седые русские молятся Богу, ставшему моложе их
на целые столетия и такому же беспомощному,
как они сами. В чужих городах мы и останемся,
словно деревья, словно камни.

ФИЛОСОФЫ

Хватит обманывать нас господа философы
труд не радость и человек не высшая цель
труд это смертельный пот
Боже когда возвращаюсь домой хочется спать
но сон лишь трансмиссионный пас
отдающий меня следующему дню
а солнце подобно фальшивой монете
поутру оно раздирает мои веки
слепленные как перед рождением
мои руки это пара гастарбайтеров
и даже мои слёзы мне не принадлежат
принимая участие в общественной жизни

в качестве ораторов с обветренными губами
и сердцем сросшимся с мозгом
Труд это не радость а неизлечимая мука
как болезнь чистой совести или новые селения
по которым в высоких кожаных сапогах
проходит здешний ветер

ПОРАЖЕНИЕ

По-настоящему
умеем жить только в неудачах,
узы дружбы крепнут,
любовь пугливо поднимает голову.
Даже вещи очищаются.
Чёрные стрижи танцуют в воздухе,
обжившись в бездне.
Трепещут листья тополя.
Только ветер неподвижен.
Тёмные силуэты врагов выделяются
на светлом фоне надежды.
Полнится мужество.
Они, говорим о них,
мы, говорим о себе, ты, обо мне.
Горький чай напоминает вкус
библейского пророчества.
Только бы не догнала нас победа.

С сербского

Десанка Максимович

(1898—1993)

БРАНКОВИНА

Словно в небо погляжу из-под руки
на село своё в свечение рассвета —
вижу миску расписную в мальвах лета,
вижу пашни — хлеба пышного куски.

И узрю ещё, как в миске той, на дне,
вишни ранние алеют соком солнца,
то румянец кровель в зелени смеётся;
а с холма, а от могилки грусть прольётся,
словно пара голубков порхнёт ко мне.

И в глубинах, распростёртых предо мною,
что-то издали мне искрою блеснёт,
словно свадебный дукат в июльском зное, —
не церковки ли наверхье золотое?
И поля пшеницы, спелых нив приплод...

ГОЛОСА НОЧИ

В ночном лесу витают звуки зла,
как будто стоны старцев гибель кличут,

как будто филин ухаёт и кычет
из логова ведьмацкого дупла.

Ломаёт ветер гниль, крушит сушняк.
А ключ бурливый из-под мшистой ветки
на волю рвётся, словно зверь из клетки,
грызя скалы шершавый известняк.

Нигде не видно даже искры малой.
Над буреломом — чёрных туч угар;
в расщелинах томятся тьмы завалы,

Лишь в сердце пня мертвеет вязкий жар;
и глохнут звуки возгласов молящих
в безжалостных непроходимых чащах.

О ГРЕЧКОСЕЕ

Гречкосей пусть работает на своего пана
два дня в неделю —
день косит с рассвета рано.
второй — за лозами пусть следит,
чтоб был виноградник ухожен, умыт,
ещё один день — ему велено строго
камни таскать на царскую дорогу;
день муку пусть мелет для монастыря,
назавтра же, не тратя времени зря,
новую крышу владычице ладит,
и яко отец его, дед и прадед,
ещё один день, как решено,
готовит под новый посев зерно.
А все прочие дни, оставшиеся у него,
пусть уж работает на себя самого.

Владимир Ягличич

(1961)

ЭЛЕГИЯ

Ожидая Йована Дучича

Позволь, земля Святого Саввы, вернуться сербскому поэту,
тому, кто не избрал изгнания, но испытал его сполна.
Прими его сыновню душу, и в облаках, в потоке света,
пусть рядом с белым серафимом, крыло в крыло, летит она.
Час наступил. Поэт изгнания, растаявший в дыму
пространства,
не виделся уже полвека с родной землёй. Но вот — уму
и сердцу странника прощенье, вот сыну блудному
лекарство —
день истинного возвращенья к себе, к истоку своему.

Сполна устав от груза комьев чужой земли, бездушной
почвы,
он наконец спешит в объятья своих домашних и родных,
в объятья тех, кто слышит сердцем его сонеты в час урочный,
кто чувствует и понимает его золототканый стих.
Спешит туда, где ангел снимет плиты надгробной
заклинанье,
туда, где строк цветы и стебли сольются в радужный букет,
чтоб избежать удела тёрна и глаз чужих непониманья,
чтоб на вопрос зерна о смерти алел цветущих роз ответ.

За светлый призрак возвращения полвека мечены тоскою,
четвёртый год войной дымятся селения родных земель.
Так на реке столкнётся бурно волна со встречною, другою,
чтоб в усмирении течения осуществить потока цель.
Мы ждали дня, не проклиная ни сына блудного, ни фата
салонного, ни дон-жуана, ни бессердечного отца,
поскольку знали, что поэта и звонаря ведёт к нам фатум,
тебя — восставшего над смертью, всевидящего мудреца.

И ты придёшь, хоть хрупкость мысли сквозь трезвость утра
постигает,
что вряд ли нам вослед тоскует родных пейзажей череда.
Так знай, что твой приход есть радость, в которой грусть не
исчезает,
поскольку многие из званных и ныне не пришли сюда.
И тот, кто слал тебе презренье и отлучение навеки,
теперь уже постичь способен твоей духовной силы смысл.
И может, мы с тобой вернёмся к любви — и в каждом
человеке,
и в этом одиноком мире, что исчезает в бездне числ.

Пусть зазвонят тебе навстречу родные звонницы Захумлья!
Пусть плакальщицы, жёны скорби, сойдутся над тобой
гурьбой.

Пусть с нами наша боль и гордость и наше чёрное безумье
объявят ныне о победе, взлетев над вязкою землёй!
И ты, кто знал чутьём пророка, как тяжело, опасно, зыбко
нам будет в новой той погоне, где прежний ужас оживёт,
усни спокойно! Над тобою, играя, с яркою улыбкой,
босые сербские мальчишки промчатся по траве болот

требиньских. И тебя услышат те, кто имеет слух и душу,
понеже голос патриарха взлетит поверх колоколов:
«Что привело ко мне вас? Страх ли меня зовёт ваш, иль
хуже —
власть победителей? Иль верность священнодействию отцов?

Меня вы больше не ищите — ни за холмом, ни за рекою.
Я возвратился, чтобы дальше плыть над земною пеленой.
И пусть меня не отделяют от неба, от его покоя
и от земли обетованной, земли, единственно родной.

Стихотворение возникло после решения возвратить из Америки прах Йована Дучича, сербского поэта, в родной город Требине, в Герцеговину, в Республику Сербскую. Там, на горе Леутар, воздвигнута церковь, в которой он теперь лежит.

Земля Святого Саввы — и метафизически, и физически. Святой Савва родился в Герцеговине.

Половина века — пятьдесят лет прах Дучича лежал в Либертвиле.

Четвертый год войны — стихотворение написано в середине девяностых годов, когда в Сербии шла война.

Захумлье — старинное сербское название Герцеговины.

Чутьём пророка — многие стихи Дучича оказались пророческими.

Блудный сын, салонный соблазнитель, бессердечный отец — из частной жизни поэта Дучича; он долго был салонным поэтом, другом королей, дипломатом, человеком, разрушавшим браки, отцом, который не признал своего сына, совершившего в дальнейшем самоубийство... А в конце жизни стал убогим изгнанником в Америке и — великим поэтом.

Плакальщицы — рыдающие на похоронах женщины, по образцу античных трагедий, по-сербски — нарикаче.

ПАМЯТЬ О ВОССТАНИИ

Спокойно всё теперь, в земле и на земле,
покой и мир царят в отчизне долгой тени.
И радуемся мы, просторней и смелей,
деревьям и плодам, и даже зёрен тленью.
Смиренная земля не произносит вслух
пророчеств, что порой ей слышимы в полслова, —
о том, что лишь любви бывшего мира дух,
исчезнув под дождём, готов открыться снова.

Не сразу различишь в родимой мгле густой —
хрип боевых коней и панцирей мерцанье,
и сербских молодцов в отваге молодой,
и, сквозь румянец сил, о жертве прорицанье.
Не сразу разглядишь — неудержим их ход,
безмолвен их полёт в пространстве, брат за братом,
в те долгие луга, где мир героев ждёт,
где вечность славы льнёт к их серебристым латам.

Истории иной и не было у нас,
лишь та, что пролилась на землю с тяжким ливнем.
Народ суровых правд, мы свой иконостас
страданьем утвердим и боль за благо примем.
И чувствует душа, что доля смысла есть
и там, где свет надежд не тешил нас от века.
Кто жертвует собой — тот в будущее весть,
тот входит в новый мир — Синжделич, Райич, Велько.*

ОЗЕРО

Гордане Б. Тодорович

В тот день, уже на смертном ложе,
Вы книгу Мура в руки взяли.
И тихо, словно жизнь итожа,
мне том на память подписали.

«И в каждом сердце — я читаю —
хранится шум волны озёрной».
Я молод был, ещё не зная
тех вод, незримых априорно.

* Танаско Райич, Хайдук Велько и Стеван Синджелич — вожди Первого сербского восстания.

Вы ныне — плеск озёрной тайны.
Глаза отражены глазами.
Вы не ушли и не случайно
Вы — здесь, на берегу, Вы — с нами.

ОН

Через парк, от суда и до почты,
я гуляю, неспешно, во фраке.
Загляну в вашу комнату, точно
глаз кошачий, фонарик во мраке.

Летний вечер. Игры моей зона —
бутики, супермаркеты, банки.
Под оркестр, под рекламу неона
снова глажу плечо горожанки.

Если ж дождь, словно боль головная,
во все окна стучит неустанно,
«Торопись воплотить — заклинаю —
человеческий род, мои планы!»

Вот на танцах, субботнею ночью,
я всех хлопцев в красавиц влюбляю.
И, с усмешкой в невестины очи,
жениха на войну отсылаю.

Вы, кто старше, глазами в экраны! —
В разноцветье бездумного счастья,
в представления политикана,
в лицемерные рассказы власти,

в поп-певиц, в шарлатанов-пророков,
в тех злодеев, что выбились в судьи,

в финансистов «прозрачных» потоков.
Все они — мне послушные люди!

Не перечь мне, дитя, резким тоном,
не суди, а послушай совета.
Посмотри на моих компаньонов:
академики, в лаврах поэты.

И лишь там, где над крышею храма
крест стоит, я шаги ускорю.
А за мною, без страха, без срама,
хвост волочится, след заметая.

ХОЗЯИН

И в праздник Крестной славы* ото сна
поднимет ночь меня негромким зовом.
В букетах звёзд, небесная страна
не спросит о пути моём ни словом.

Увижу вновь порог, под ним змею,
притихшую на камне в чуткой дреме.**
В траве двора узнаю тень свою
и шаг минувший свой почую в доме.

Опустят тёмный занавес немой
и тишина, и голос эха странный.
И перед тем, как я вернусь домой,
замру, застыну, словно и не званный.

* Крестная слава — праздничная дата, нечто сродни русским именинам. Каждый дом в Сербии помнит своего святителя и славит его в ночь Крестной славы, собирая родных и друзей за столом с угощением.

** Праг — распространённое в Сербии верование о том, что под каждым порогом в доме спит змея, охраняющая дом.

Чтоб шорох из гостиной услышать,
согреться вновь слезой свечи о Боге
и чтоб открылось благо мне опять:
калитки скрип — под ветром от дороги.

ТЕСЛА

На говор грома, на вопрос природы
сверкнёт в электрокабеле ответ.
В прозрениях мага — проблески свободы
над мраком. Но предела спору нет.

И он поймёт, что в нём душа эфира
живёт, и откровением звучит.
И надо ль умножать упрёки миру,
когда лишь Дело правду утвердит?

Всех демонов, что дом его сжигали,
пронзит он, в медитации, насквозь
О бедный гений! Длится путь реалий
сквозь темноту, где каждый — только гость.

В величии и в ризе покаянья
идти ему — вне Святости ночей.
Не людям о своей шепнёт он тайне,
но лишь голубке белой на плече.

Лишением пола сблизив Ур с Ростовом
и Колорадо с первым светом дня,
он — вестник мировым первоосновам,
Серб Господа и звёздного огня.

КАПУСТА

Неспешно выросший качан широколистый,
готовый к сечке туготелый шар хрустящий,
засола ждёт, когда на бочку крест плечистый
положат сверху и пудовый камень — к вящей

и пущей верности. Квашенье — род искусства
(что лишь немногим знатокам сулит удачу).
Пока что снята с гряд и сложена капуста
и бочек ждёт своих, покрепче, побогаче.

И вот, посечена хозяйскими руками,
в день остывания осеннего светила,
умножась в сущности своей под тесаками,
она несёт в себе достоинство и силу,

готовность к жертве без малейшей тени грусти —
под бодрый стук, под золотистый отблеск кадки.
Какая мудрость в этих головах капусты,
всё отдающих — ныне, здесь и без остатка!
Всё обретающих в осеннем онеменье,
всё то, что отдано без страха и сомненья.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Редко, с рассветом, такие стихи прилетают,
одновременно и мраморны, и невесомы,
те, что загадкою мучат и дух наполняют
разом — и смертною мукой, и счастья истомой,

разом — и твёрдою верой, и бунтом неверий,
некой единою вестью из ада и рая.
Словно из сканеров, компов продвинутых серий
и из там-тамов, и с луга стоцветного мая,

словно из русской зимы, из ведической притчи,
из Гильгамеша, из снов ясновидца Гомера,
ноты напева летят, человечьи и птичьи,
отзвуки гулких глубин неопознанной сферы.

Из жития возникают, из охры пещеры, —
то в них Колхида и Анды, а то Гималаи, —
цветом различны и формой, и точностью меры,
но бесконечны всегда, прозорливы без края.

Из сегидильи Иберии, из бугарштицы,
саги, чуляндры, из нежной печали Альгамбры
смысл прилетает, напев человека и птицы,
и затихает дыханием лавра и амбры.

В ГОРАХ

10.

Как лёгок голос твой, осенняя цикада!
От тёплой полосы бетона под окном
сквозь сумрак он летит. И в мире, полном лада,
смолкает лишний стих, смирённый полусном.

Вот вечер, где сонет в сонате умирает,
где каждый малый такт — прощальный взмах руки,
где преданность зрачков мой взор во тьму роняет,
а нот твоих ключи — строги и чуть горьки.

Прощанье — ток минут, стеклянная воронка
невидимых часов. Но доверять ли мне
пространству, что поёт неуловимо-тонко,
но с холодом судьбы, но всё-таки извне?

Ведь солнца детский дар — всё обречённой ныне,
дионисийский плод прикрыли облака.
«Спасибо и прости» я говорю святыне,
что осенью умрёт для майского цветка.

Позволь же взять тебя в ладонь, как каплю влаги,
и к уху поднести, чтоб отзвук давних сил
поймать. Чтоб без чернил, без версий на бумаге
я будущее, вслед уходу, ощутил.

Не бойся же уснуть на высшей ноте трели,
певунья. Дни без нас настанут вне обид,
ведь были мы собой и, что судилось, спели.
И нас осенний сон, чем сможет, защитит.

24.

Всё может быть поживою для глаза —
скамейка, кран с водой, цементный бюст.
В веках не предал своего ни разу,
но образ тот же — радости искус.

Всё может стать до мелочи знакомым,
край, где не жил ты раньше никогда:
или настолько стал тебе он домом,
что можешь ты забыть к нему врата?

Как на благие зовы упований,
что возвращают нас себе самим,
сойдёт Христос с креста в нирване ранней,
и Адонис восстанет рядом с ним.

Теперь, во взорах эллина и Бога,
яснеет, отражаясь сельский храм.
Словно цветное марево Ван-Гога
ждёт безупречно-твёрдых линий рам.

ДАРЫ

Миловану Беконьи, скульптору

Когда проводишь друга — снова, снова! —
в нездешний мир, в загадочную тишь,
закрывшись в мастерской, не помня слова,
с немым резцом опять заговоришь.

Но все шумы, весь хаос многоликий
в затворничество целятся твоё —
шаги влюблённых, фар вечерних блики,
околичное, с лаем псов, жильё.

Пусть гул толпы бахвалится победой.
Но надо было с демоном сойтись
в единоборстве ради правды этой —
искусства, светом полнящего жизнь.

И пусть друг друга рвут они на части,
ни разума не помня, ни стыда, —
и те, кто рвутся к вожденной власти,
и те, кто должен уступить места.

Ты знаешь: шум машин, надменно-сухо
звучащий, страсти зов, поход во власть —
всё это — не от сути, не от Духа,
и, как вселенский прах, должно отпасть

перед смиренным обликом иконы.
Все лжи слои осыпаться должны
пред вечным, перед тем, что ждёт исконно
на самом дне духовной глубины.

И только тот, кто наших слёз достоин,
кто прожил и ушёл как человек,
вернётся в некий час, поэт и воин,
чтоб с мастером вдвоём назвать свой век

по имени. Взгляни же миру в очи,
ваятель, чтоб в резце себя нашла
надежда, чтоб Судья небесный зорче
вгляделся в штрих-пунктир добра и зла.

Чтоб в дереве, металле или камне
прошли бы пред судом Его седин
тысячелетья следом за веками —
пешком, бегом ли, «формулой один».

В счастливой силе дня ты и не вспомнишь,
что слаб и наг, что на две трети сед.
Лишь в мудрой одинокой думе полночь
шепнёт, что каждый свой оставит след.

И этот след на вязком бездорожье —
итог трудов резца и мук пера.
Свой нежный дар Христу и плану Божью
несут сквозь скудость мира мастера.

Несут сквозь казнь бездушья и бездумья
отвагу и отзывчивость сердец,
дабы, итожа счёт жестокой сумме,
простил хоть часть стадам своим Отец.

ТАЗ

Во дворе, возле крана с водою, почти у забора,
долгий век доживает посудина старого таза.
Он служил ещё бабушке, помнится, в прежнюю пору,
а теперь в его чаше герань расцвела яркоглазо.

В нём купали меня. И касались Господнего чада
Иорданские воды в купели его допотопной.

Потому нам доньше, за слабую веру награда,
льются ливни с небес, над асфальтом, над грязкой укропной.

И хоть мухи жужжат над отжившим железным сосудом,
всё искрится его оцинковка под солнцем средь зноя.
И смирившись с кончиной своею, с часов самосудом,

он и участи нашей крупницы уносит с собою.
Он, кто первым узрел наготу нашу, Божью убогость,
омовений родительских помнящий нежность и строгость.

СЛАБОСТЬ

Узлы в мышцах, тромбы в венах,
гематомы у сухожилий и спазмы в икрах ног.
А сердце, сжимаясь словно ягнёнок в хлеве,
(тахикардия) скачет из депрессии в стресс.
В моём физическом исчезновении преломляется замысел
мира. И уже напрасна доверчивость к другим снам:
когда внезапно, словно огнём крапивы, обожжёт
прадавняя и моложавая непредсказуемая ярость.

Только бы не прозевать мне автобус. Тот голубой,
запылённый, забрызганный чёрной болотиной,
тот, с порезанным и рваным, заштопанным сидением,
со стариком кондуктором, которого я уже старше.
Чтобы сел я у окна и поздоровался с мимолётным домом,
чтоб увидел луг, пахучую ниву и стерню,
чтобы заметил лица, ещё не испорченные злостью,
в которой больше не трепещет мудрое слово.

А потом, чтобы вышел наружу — где? — в Крчине, например,
заглянул на сельское кладбище (рядом с торговой лавкой),
чтобы какое-то дитя сказало «добрый день»,

а дальше, чтобы погрузился я в травы, холмы, долины,
потерявшись навеки в чём-то невыразимом,
убийственном и целительном, судьбоносно витающем
над невозможностью плана, над ежедневной арендной платой,
в невыразимом, пределы чего я утратил, но что меня ещё
любит.

Там бы я, там, ободрился, сидя под ветвистым деревом,
вглядываясь, как солнце входит в меня,
пробуждая в моём теле незнакомое ещё существо,
чтобы и оно, пусть слабое и крошечное, стало истоком,
сплетённым в новорождённой мгле
с неосознавшими своих сил, неколебимыми лесами,
с которыми я стану единой семьёй,
не зная несчастья, ужаса, разорений и изгнаний.

Там бы мне умереть, в той придуманной стране,
где на поле опадает несуразность колючей ограды,
среди кудрявых подлесков, на ровной покоса стерне,
там, где в воздухе слышатся новых сонетов цикады.
И если не сыщется для меня шалаш там, гордый, ничей,
если напомним болезнь, что по тонкому всё и рвётся,
если станет на пути моём целая палата врачей,
всё же последним усилием воли дух мой туда вернётся.

БОГ СКАЗАЛ

Имени отца своего не знаю.
Головы братьев — на кольях острых.
Мать моя — дыма река без края.
А младшие сёстры — на дальних погостах.

Друзья мне — крапива да дикий тёрн.
Любовь — это то, чего не бывает.

Бутылка плывёт, без записки, средь волн,
и ветер морской её подгоняет.

И Бог сказал: «Живи, если жив,
и душу свою не сгуби в изменах,
куда бы ни звал тебя плоти порыв.

Ты — прах среди прахов бессчётных бранных.
И трон ли получишь иль в дырах суму,
не смей, не пытайся спросить — почему.»

МИЛОСТЬ

М. Янковичу Мидже (1932—2100)

Сел мужик на треножник в прекрасный Господний день,
хвост коровий к ноге подвязал — хлопотать не лень.

Доит вымя парное и полнит ведро молоком,
только вдруг опрокинулся, рухнул у яслей ничком.

Это было вчера, а сегодня слышно: «Ну вот,
наконец-то от дум и забот старик отдохнёт».

И свеча на столе слезится, и катится воска сок,
и покойника бороду подвязал атласный платок.

После тяжкой работы родные стоят над ним,
лёг хозяин чуток вздремнуть, лежит недвижим.

Тридцать лет я здесь не был, блуждая в добре и зле,
не был близко, вплотную к смерти, к родной земле.

Тот же дом невысокий, где жизнь человека трудна,
только трещин погуще и вспучена больше стена.

Тридцать лет промелькнуло, как будто ладонь о ладонь,
и сияет над днём похоронным небесный огонь.

Может быть, я живу в глухоте, словно в некоем плаще,
в слепоте, в непроглядном сиротстве людей и вещей,

где, явив свою милость, отбросив прозрачную тень,
смерть приходит мгновенно в сияющий дивный день.

ОБОСНОВАНИЕ ОТСУТСТВИЯ

А мы с Борой Хорватом* отсутствовали как мёртвые,
пребывая в иных краях — посущественней, поважней.
Не было с вами нас, лишь посмертные абрисы лёгкие
на земле мы оставили. С ветром минувших дней,
с ритмом его искали гармонию строки наши,
чтобы не каждый понял слова, но голос любой узнал.
Жить — тяжелей, но поётся — всё легче, всё дальше.
Вот и забудьте о страхе, вы, кто нас услышал.

РАЗГОВОР

Николе Живковичу

Дух германский взявший за основу,
славянин по сердцу и уму,
издали пришёл ты, чтобы снова
возвратиться к долгу своему.

Ты принёс рассказ о мощном звуке
Вагнера, где смерть любви равна,

* Бора Хорват — сербский поэт, умерший в Крагуевце.

и о Ницше, что верней науки
ведал змей и грифов имена.

Говорили мы весь день с тобою
о путях Европы и о том,
кто какого миру дал героя,
взмывшего над временем мостом?

Вслушивались в собственное сердце —
где мы ныне? И коль Дух един,
как сравнить железный гений немца
с нежной силой музы Апеннин?

Где теперь в духовном изобилье
мира наше место, где наш след?
Всё ль идти нам к сумрачной могиле
по распутью иль забрезжит свет?

Нам и дня с тобою не хватило,
вслед и ночь, грустя, к исходу шла.
Было жаль родной земли, что силы
собственной ещё не поняла.

Потому что сын забыл об отчей
вере, колыбель забыл мертвец.
Или нам судьба — слепые очи
пагубных вождей, глухих сердец?

МОГИЛА ВОЛОШИНА

Там мысль летит вдогонку за стихами.
Там, в Киммерии, нужно жизнь прожить,
пройдя пешком холмами и горами,
и притяженье почвы полюбить.

И там, когда в одно большое время
сольются все пунктиры зим и лет,
ты в чуде смерти, в каменном Эдеме
поймёшь — лишь имя есть, а плоти нет.

Иди же ввысь, пока земною осью
поблескивает посох твой в пути,
И холм могильный Макса встретит гостя

уже небесным воздухом в груди.
И силу даст, от почвенных щедрот,
чтоб продолжать и снов, и яви ход.

СОЛНЕЧНОЕ УТРО

Едва рассветёт, ощутишь себя солнца собратом.
А воздух невинностью и наготою девичьей
сияет. И брызжут булыжники улицы златом,
и клювы дверей отворённых зевают по-птичьи.

Жара вызревает, и кажется, в ней оседают
все отзвуки давешних споров твоих и сомнений.
А тело и крепнет, и словно покой обретает
на розе ветров, на распутье, развязке сплетений.

Твой разум уже отстаёт. Есть дороги прямее.
Дрожит мошкара по пути в световой колоннаде.
И сонмы жужжащих существ, мириады-пигмеи

роются над утром единственным, млея в усладе.
И мир — это сон, и предчувствиям внятен не хуже,
чем явь. Ибо сон — тем реальней, чем глубже.

САД

Эти ягоды отчего сада румяные
есть теперь не могу. Но глазами любви
вижу я, как пульсирует в них неустанное
первородство земной материнской крови.

Этот сад ободрит ещё душу цветением,
продолжением тех многотрудных побед,
где соха и мотыга продлятся струением
вен дождя, где спасенья для семени нет.

Со скамьи поднимаясь, гуляю по саду я
и себя в самой дальней из ниш нахожу
бесконечного мира, весеннего лада я,

и не запахом новых плодов дорожу,
но свеченьем, сквозь воздух, родительских глаз,
жизнь проживших со смыслом и не напоказ.

СТУДЕНТЫ

Выходили мы, будто из чрева пещеры,
из натруженных каменных стен факультета.
И тетради стихов, неким символом веры,
мы держали в руках руках. Большинства уже нету
на земле среди живых. Это смерть распахнула,
разметала крыла — словно шелест бумажный,
за спиной прорастающий, время взметнуло.
Но в тот полдень мой юный, влюблённо-отважный,

так она выходила, на склоне семестра,
так светилась, тетрадку к груди прижимая,
что казалась сестрой темнокошою ветра,
что будила цветы на всех ветках среди мая!

Проходила, и город вздыхал полногрудо,
и, казалось, лишь воздух нас соединяет.
Я завидовал бёдрам, косе её — чуду,
что не будет моим и ни чьим не бывает.
И я думал, что эти белейшие зубы,
стать её, в нежнокожей светимости ранней,
тайно ждут перелёта, чтоб ангелов трубы
окликали её для небесных касаний.

Шла она, и был город её отраженьем,
провода телеграфа осанну ей пели,
и лягушки в болоте дурманились пеньем,
и стреляли зрочки её точно по цели.
И с реалий слетали вуали, а бронза
изваяний входила в рифмованный опус.
Все движенья её, поворот её торса
совершенный являли, единственный, образ.

Молодыми богами, неся свою святость,
сквозь пространство тех дней мы вдвоём проходили
И оставив внизу отчуждённости тяжесть,
воспаряли на вздохе. И белые крылья,
исчезая в искомой небесной отчизне,
оставляли божественных смут отпечатки
нам, не смеющим соединиться при жизни,
нам, несущим предчувствие в нерве сетчатки,
сквозь зиянье смертей и времён притязанья —
красоту, чудный сон за пределом сознания.

Потому и теперь жив во мне прежний трепет,
стоит мне лишь пройти мимо стен факультета.
Не мешает ни страх, ни забвения лепет,
и куда б я ни шёл, — во все стороны света, —
где бы я ни блуждал, прихожу без укора
к тем же встречам, что снова — реальны, и зыбки.
И всё жду твоего неизбывного взора,
всё ищу состраданья небесной улыбки.

ДОМ ИЛЬИЧА

*Всегда твердые, никогда не склонённые,
перед бурями, как суровый дуб.
Кто мог нас увидеть на коленях,
и кому мы продали свою честь?*

Драгутин Й. Ильич

*Нет больше ни Ильича, ни их дома. Остался
только просторный сад и в нём одно старое дерево
ореха со склонёнными ветками. Этот орех,
в чьей тени иногда собирались Ильичи и их друзья,
стоит ещё и теперь, уединённый, с обломанными
ветвями, как будто скорбит и говорит нам
о наших писателях девятнадцатого века.*

Воин Пулевич

То был белостенный приземистый дом,
каких так немало в Белграде.
Там четверо юношей строгим отцом
воспитаны подвига ради.

В гостиной их — пол из медовых досок
и над оттоманкой картины,
ореховый стол и часов шепоток
над полками книжного чина.

А рядом — «Семь швабов», трактир, гомонил,
где Якшич полотна развесил.
И если сюда без гроша заходил
поэт, то и сыт был, и весел.

О Ильича дом! Ты — и хлеб мой, и соль,
и кров пред житейской грозой.
Здесь постную ел я на завтрак фасоль
и вновь согревался душой.

Здесь Янко и Лаза над кругом стола
и Глишич, и Слемац, и Яша

сдвигали стаканы и память жила
о боли и доблести нашей.

И длилась беседа — о всех новостях,
о чести креста и о змее,
о гнёте Босфорском, о жалких властях,
о сербской бессмертной идее.

И длилось под сенью садовых ветвей
наследников Ильича пенье,
и с мёртвой Тайиной шептался своей
Воислав, наш сумрачный гений.

Теперь там под ветром осенним листы
тревоги полны и истомы.
И убыло в сердце родной красоты —
не стало заветного дома.

И только последний орех в том саду
шуршит еле внятной молитвой,
как страж тишины, провожатый в мечту,
как в век 19-ый гид мой.

О путник, у дома, которого нет,
замри в благодатной печали.
Икон на крыльце непогашенный свет —
узри. И ступай в свои дали.

МЕЖА

Тем летним утром солнце встало рано
и спряло золотую пряжу споро.
В тот яркий день на ум пришло Йовану
поставить на меже столбы забора.

И с проволокой, с бухтою колючей
стал Йован на меже на пару с зятем.
Семейной злой обиды, тёмно-жгучей,
с похмурых лиц не смыть и не согнать им.

«Зачем же, Йован, — грянул голос брата —
отрезал ты моей земли полметра?»
И взвился над межей клинок булата
с коротким свистом жалящего ветра.

И прибежали люди в Божьем страхе
к меже, где тишина сгущалась грозно.
И брат стоял в разорванной рубахе
и в сердце бил себя, но было поздно.

И умер Йован в братовых объятьях.
уснул под пряжей солнца золотою.
И только небо ведало о братьях —
что нет межи, лишь вечность за межою.

БАССЕЙН

В сентябре обезлюдел бассейн. И по глади воды
три листка проплывают, купальщиц былых заменяя,
откупавшихся в августе. Лишь на ограде следы —
полотенца, забытые их отлетевшею стаей.
Если ветер подует чуть крепче, почувешь ясней,
сколько дней растерял ты за месяц, за месяц всего-то.
Впрочем надо укутаться. Ноет под зябкостью дней
незалеченной раны глубинная долгая нота.
В ресторане и в шахматы можно играть возле самой воды.
Только не с кем. Все стулья пустуют. И вовсе уж плохо
с появлением приезжих. Надежды сезона — пусты,
и осталось от лета не больше последнего вздоха.

И его Ты возьмёшь у меня, Господин. Но позволь опускать мне пока что в бассейн и лодыжки, и пятки, соглашаясь на роль в эпизоде. Ведь главная роль — время, легче пера, но берущее всё без остатка, без отдачи, без жалости. И где-то там, в пустоте, горловые дрожат и беззвучно вибрируют связки. Так позволь же мне кануть в пространства надёжные те, как под воду ныряльщику, и без малейшей опаски.

Вот и дверь закрывают. Закатный густеет покой. И хорошенькой официантки глаза заскучали — прикурив сигарету, качает скрещённой ногой на пригреве вечером, на стыке тепла и печали. И твоя бы рука прикоснуться к колену могла, но движение упрятано в плен пеленою бетона. И куда бы в итоге случайность-игра ни пришла, здесь, на стыке миров, ты найдёшься. Земные дела за предел отрицанья выводят. И выдох тепла — может, больше, чем надо тебе, на уклоне сезона.

* * *

Тёмным утром, когда наплывает замедленный дождь, понимаю, что путь мой проляжет теперь через капли. Даже если и стихнет их ритм, от него не уйдёшь, ибо звук из глубин — это точность без слова, не так ли? Мокрый ветер порывом дорогу в ветвях прочесал, в растерявшем и листья, и память притихшем подлесе. И дорога Спасителя ждёт, чтобы присных позвал, чтобы в каплях глаза Его рыб обозначились в блеске.

Со словацкого

Андрей Плавка

(1907—1982)

СЛЫШАНЬЕ

Дома мне говорили:
Андрейка, погаси лампу, —
ночь уже,
и все приличные люди спят.
Вот так я стал неприличным
на долгие годы,
до самой старости.
Теперь никто мне не скажет:
Андрейка, погаси лампу.
Все приличные уже умерли.
Но — светает!
И жив ещё поэт.

ОТЛЁТ ЛАСТОЧЕК

Ещё один хор,
ещё один последний напев,
пока горизонт
не сложит крылья в печаль.

Моё гнездо,
слевленное из грязи
под крышею небес,
уже начинает чувствовать
тёплую страну.
За селом
копают мне «швабочку»,
над ботвой уже поднимается дым.
За щебетом, за красотой
всегда приходит прощание.
А что там дальше, у осокоря?
Кротость моя непокорённая.

Павол Горов (Горовчак)

(1914—1975)

ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ

Альп осенних утренние гряды. —
Скальные стоглавые химеры
облачились в снеговые латы.
Щерит ящер клык. И блик баллады
брезжит на челе Аполлинера.

Словно лбы мыслителей, вершины
держат высь космического плана.
Радуга стиха — не хвост павлина.
А поэт — гранит и млечность глины,
и снега целебные на рану.

ОСЕНЬ В ГОРОДЕ

Помеченные кровью рты —
багряной осени потери.
Темны бульвары и пусты,
но я в огни восстанья верю.

Вот грозным рокотом рабов
тревожно полнятся предместья.

И местью веет от оков,
не сгубленной в неволе честью.

И каждый смертник — брату брат
там, где сквозь долгие секунды
горят в отваге баррикад
карминовые ветви бунта!

Со словенского

Лайзе Кракар

(1926—1994)

УКРАДЕННОЕ СЕРДЦЕ

В полночь весь город — созвездий обитель.
Стража на башнях боролась со сном.
Шёл я по зябким камням, похититель,
пьяный волшебным любовным вином.

Вдоль переулков, под звёздной притчей,
шёл я, окутан разбойничьей тьмой,
тать, осчастливленный редкой добычей, —
сердце твоё уносящий с собой.

ЗЛОДЕЙ НА ПЕНСИИ

Преступник седой благоденствует. Рентой
доволен в добротном костюме старик.
Покой. Мемуары. Из банка проценты.
И школит он внуков, и холит цветник.

Убитые им, из астрала иного,
с печалью глядят на беспамятство дня.
...А внуки злодея, без лишнего слова,
берут на прицел — и тебя, и меня.

С хорватского

Юре Каштелан

(1919—1990)

УСНУВШАЯ ГИТАРА

Пусть ветер коснётся тебя невесомой ладонью,
разбудит, певунья-гитара, рассветной порою.
Пусть ветер, напившийся хмелем маслины спросонья,
разбудит тебя — серебристой, зелёной игрою,

гитара, уснувшая в чёрных слезах Леопарди.
О, мёртвая ласточка, алый обломок коралла!
У самого моря, в пустой далматинской мансарде,
ты — гроздь винограда, ты — ветка шипов астрогала.

О, песня, невеста-гитара, средь пены и гула,
как точно ты целишься в львиное сердце поэта!
За что, моя музыка, с кем ты меня обманула?
О, белого ветра ладони в прохладе рассвета!

КРОВЬ И БУРЯ

Я вены вскрыл себе, и к вящей славе
небесный гул по жилам полетел.
На море, на Балканах и на Саве
нажрался ворон мяса мёртвых тел.

И смутный страх удушливой петлёю
больней верёвки сжал гортань мою.
И кровь моя дымилась над землёю
Хорватии — в возлюбленном краю.

Я вены вскрыл в воинствующем слове
и семенем взметнулся через край.
Взывай же, буря, над разгулом крови,
над пеной Адриатики рыдай!

Ружица Циндори

(1961)

САД

Будь терпеливой.
Вне нас
ничего не существует.
Отшлифованного камешка
вполне достаточно для радости.
И хватит наживать
всё большую мудрость.
Когда с годами твоё лицо
украшается морщинами,
всё прекрасней становится тот сад,
из которого предстоит уйти.
Высоко вдали
каждое лето снова
будут расцветать
твои руки.

КАРДИОГРАММА ТИГРА

В непроглядной чаще
даже тигр
ощущает страх перед ночью,
пусть даже его глаза

светятся в темноте.
Экстрасистолия
предупреждает его:
никогда больше
не быть ему ни звездой,
ни ветром,
поющим среди трав.
Одряхлев и смирившись,
сцепит в замок челюсти.
Станет похожим на песок.

СТАРОСТЬ

Так незаметно
к нам подкралась старость.
Бросились к ней
безрассудно,
одолевая годы,
словно магистрали.
Где-то по пути
растеряли своё лицо.
И хотя восклицаем до сих пор:
«Мы — молодцы!»,
никак не можем узнать
с утра тех особ,
которые в упор смотрят на нас
из зеркала.

ВЫСТАВКА

Принеси мне
только своё молчание.
Хочу увидеть,
насколько ты взволнован.
Всё ещё прячешь детство
по карманам
и книги поглощаешь жадно,
словно яблоки.
Мир себе создал,
чтобы спрятать в нём сердце.
«Пускай теперь ищет» —
сказал бы,
если бы отважился
подать голос.

С черногорского

Душан Костич

(1917—1997)

ЗАВЕТНАЯ КНИГА

С душою, полной странствий и созвездий,
уйду я — всё равно, куда, когда.
Жизнь — это книга славы и бесчестий,
надежд, преодоления и труда.

Её читаю редко, лишь в минуту,
когда нисходит полночь с Чёрных гор,
когда, одолевая в сердце смуту,
вступаю сам с собою в разговор.

А над золою будущее зреет,
и в нём, с всей своей мечтою, я.
И вижу — даль озёрная синее,
и пью из драгоценного ручья.

Пусть звонницы, работницы столетий,
осели и лишайником взялись.
Но поезда восторженно, как дети,
кричат из дальней дали: «Здравствуй, жизнь!»

И книгу я ношу в себе живую,
заветную — о том, что не уйду,
останусь в чувстве, в слове, в поцелуе,
останусь здесь, где жил и знал не всуе —
отчизны, скал и неба высоту.

С чешского

Витезслав Незвал

(1900—1958)

ИГРА В КОСТИ

В казино, где на ткани зелёной
продолжаю я игры с судьбой,
мне Химера с улыбкой кривой,
снова хвалится картой краплёной.

Так целуй всё пьянее меня
сквозь цветные фантомы гашиша!
Я, свой «Вальтер» на флейту сменивший,
на вороньей готической крыше
поддаю каждой ноте огня.

Бой часов — выстрел громкий и меткий.
С нежной кожицы марионетки
ткань прозрачная соскользнёт.
Ночь не даст на письмо ответа,
глаз поранится рисккой света.
А Химера, с ухмылкой, ждёт.

НОСОВОЙ ПЛАТОК

Я еду прочь. Тебя сквозь слёзы вижу.
И вот уже платок кладу в карман.
Весь этот мир, цветной плакат бесстыжий,
сорву, сомну и брошу в океан.

И в реку слёз нырну, в смятенье духа,
и в сотый раз ландшафт переломлю.
Прости мне, певчий дрозд, провалы слуха —
то хрипну, то заикою скриплю.

Платок трепещет. Городские норы
гротеском ночи втянуты в туннель.
Увы, но смерть — не лабиринт, который
под утро приведёт в чужой отель.

И ты, любовью мечен, как дель Сарто,
прекрасной даме возврати платок.
А смерть — кульбит, лишь краткий миг азарта.
Взлетай же, острокрылый ястребок!

Ярослав Сейферт

(1901—1986)

МАЙ

Дозорная башня без устали дарит кому-то
белейшее облако и ясно-синий Синай.

И всё, как обычно, — воздушен, и нетто, и брутто,
поэт осеняет стихами свой месяц, свой май.

И он же вздымается в бронзе над Площадью Рынка,
и пара влюблённых глядит, с любопытством в глазах,
как в бронзовый лист он врезает пером, словно финкой,
надзвёздные притчи и сведенья о чудесах,

стихи гравировует о доле людской и печали,
о том, что минуют напраслины всех перемен.
А может, о лучшем — о женственном грезит начале,
о благоухании роз, преклоненье колен.

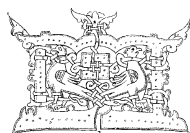
То Дворжак вструбит, то охотничий рог над горою,
жар-цвет одуванчиков в Пражский вливается Град.
И девушка прячет лицо на плече у героя,
где верность упора знавал и ружейный приклад.

И вправду, Маэстро, призыв Ваш — прекрасен и вечен.
Воскликнете «Май!» — и пронзает до дрожи приказ.
Вот время любви наступает, магический вечер,
и нежной команде никто не изменит из нас!

ЛАМПОЧКА

Вокруг застеклённого огня
клубится
рой мерцающих крылышек.
И Томас Алва Эдисон,
отрывая взгляд от книги,
молча усмехается.
Боже!
Мистер Эдисон —
Вы спаситель мотыльков!

Очерки о поэзии славянских языков



СТРОГОЕ ЗЕРНО МИКОЛЫ ЗЕРОВА

Слова правды о расстрелянном украинском ренессансе двадцатых-тридцатых годов стали слышны лишь в самое последнее время. Бессмысленные, грубо сработанные обвинения в национализме, во всякого рода террористических заговорах, шаманские камлания чисток, начатые уже с конца 20-х годов, привели в 30-е годы к полному погрому литературного возрождения на Украине, к уничтожению сотен талантливых деятелей национальной культуры.

Среди этих людей были и творческие личности первой звёздной величины. Такого уровня созидательной силой был одарён Микола Зеров. Его имя стало известно широкому кругу читателей после полувекового замалчивания лишь сейчас, когда в апреле минувшего года отмечено столетие со дня рождения поэта, переводчика, литературоведа — учёного мощного интеллекта, энциклопедических познаний, художника чистого словесного дара. Издан полновесный двухтомник его произведений.

Но, обращаясь ныне к страницам творчества М. Зерова или М. Драй-Хмары, Е. Плужника или М. Хвильевого, переживая радость узнавания больших мастеров, не можешь всё же уйти от гнетущей думы о том, насколько же мощнее, полнее было бы сегодня литературное слово Украины, насколько отважнее звучал бы в нем канон правдоискательства и правдоборства — живи и работай в отечественной литературе эти безвременно погубленные искристые души многострадальной земли.

Микола Зеров был солнечным человеком, для его натуры, видимо, неслучайным было внутреннее творческое тяготение к эллинизму, к благодатной поэтической традиции Греции, древнего Рима, Италии, французских парнасцев. М. Зеровым выполнено множество искусных чеканных переводов римских

классиков Горация, Вергилия, Овидия, Катулла. Разнообразны и содержательны его литературоведческие груды. Собственное его поэтическое наследие по объёму, однако, не велико.

Но вспомним, к примеру, что другому выдающемуся переводчику, прекрасному русскому поэту Арсению Тарковскому судилось выпустить свою первую книгу стихов лишь в 55-летнем возрасте. А какого истинного, богопризванного поэта возвестила эта поздняя книга читателю!

Редкостная творческая заряженность М. Зерова обещала в будущем очень многое. Но в возрасте 44 лет, в мае 1935-го, он был арестован по стандартно-кровожадному, кликушескому обвинению в террористической деятельности и в июне 36-го с приговором 10 лет лагерей отправлен на Соловки. Здесь Зерову ещё удастся завершить перевод «Энеиды» Вергилия; лагерные письма профессора-арестанта, поэта-«террориста» к жене свидетельствуют о его неутомимой творческой натуре, обширных писательских планах...

Но, если 200 лет назад последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петро Калнышевский, брошенный царицей Екатериной в соловецкий каземат, оборотился седым валуном, пережил и лютую владычицу, и все мыслимые сроки, оставаясь до 113 лет живым, и несломленным, то век нынешний лютью своею всё былое превзошёл.

Кровавое людское крошево и варево замешивалось временем сталинской паранойи всё гуще. Бдительная тройка НКВД Ленинградской области пересмотрела приговоры М. Зерову и трём его товарищам-литераторам. В октябре 37-го года все они были расстреляны в стенах монастыря, превращённого в тюрьму. Богомольная в прежние века, осквернённая сатанизмом в веке 20-ом, земля Соловецких островов уже никогда не отдаст останков Миколы Зерова, Павла Филиповича, Марка Вороного, Григория Эпика, Евгена Плужника, Леся Курбаса... Прочтём книги, оставленные ими. Это та минимальная доля справедливости, которую мы можем и должны обратить и к прошлому, и к будущему.

Предлагаю читателям несколько сонетов Миколы Зерова, переведённых мною на русский язык. Зеров, кстати, оставил немало стихов, написанных им по-русски и переводов с родного

ему украинского языка на русский. Мысль об общем дыхании единокровных культур была для него естественной и необременительной. В стихах М. Зерова отчётливо проявляется его тяга к строгой, классической форме. Выверены и взвешены строфы, строки, слова зеровских сонетов. Да и сами его буквы представляются зернью строгой, округлой формы, зерном твёрдых, благородных пород. И всегда, даже если речистое это зерно заключено в смуглокожую глину древнегреческой амфоры, оно явственно и щедро пахнет плотью первородной почвы поэта — горячими чернозёмами Украины.

Надеюсь, что читатели обратятся к оригиналам стихов М. Зерова; его поэтическое наследие в полной мере достойно благодарного прочтения. Строгое зерно Миколы Зерова даёт добрый хлеб и надёжные послезимние всходы.

1990 г.

«НО ОН-ТО ДАРОМ СРОКА НЕ ДАЁТ...»

Вся биография поэта Василя Борового — в его непридуман-ных стихах. В его воистину народных песнях — откровени-ях, инвективах и плачах — подлинная хронология страшного времени, выпавшего на долю поэта и катаржанина, и на долю его, — да нет, нашего с ним! — народа.

В не придуманных, а выдохнутых самой душой словах за-печатлены, словно документальные чёрно-белые кадры дрожа-щей и рвущейся ленты, картины чёрно-серо-багровых удуш-ливых десятилетий, в недрах которых, будто бы по остаточной Божьей воле, не живут, но выживают из последних сил люди. Там движутся фигуры фантасмагорические и очень узнавае-мые, там сопротивляются небытию до последней своей минуты человеческие существа, обречённые Молохом бесчеловечной системы на почти неизбежную гибель. Сказать ещё прямее — там опознаёмся мы сами, наши кровно родные, близкие и лю-бимые. Вот, где неотвратимо: «возлюби ближнего твоего...» Ибо в этих вывернутых наизнанку беспросветных пространствах «жалеть» — и означает «любить». Иного просто не оставлено никому по ту сторону жестокости.

И вот свидетельство Борового, из самых первых рук, о нём самом и о совсем ещё недавней судьбе тысяч и миллионов его соотечественников:

Судилище в подвале. Полутьма.
В крестах решёток, ёжится тюрьма.
Судья Рогожкин, жилистый, горбатый,
пилой скрежещет, ржавой и щербатой,
скрипя-читая. А ведь надо, чтоб
гром-приговор взрывал темницы гроб.

Но вот скрипит горбун: «За оскорбление
Отца народов, за стихотворенья
о том, что Вождь — московский Чингизхан,
расстрельный приговор злодею дан
Украинским военным трибуналом.»
Прочёл — и хищным высверкнул оскалом.

А за порогом грозной той тюрьмы
стоит моя матуся меж людьми
и молится: «Узри, о Боже, муки,
не дай моё дитя убийцам в руки,
как дал Ты сына своего на крест.
Ведь Ты же знаешь — здесь не суд а месть...»

А я стою — блестят штыки из стали.
Вот так меня в поэты посвящали!

— Полученный смертный приговор — рассказывает мне сегодня, в середине июня 2013-го, в год своего девяностолетия, Василий Иванович — заменили на 25 лет лагерей. Всё таки был уже не 37-й, а 47-й год. Да и рабы с кайлом в руках Сталину были очень нужны. С этим приговором и отвезли меня на берег Ледовитого океана в лагерь № 18 в Кайеркане. При первом взгляде то было абсолютно гиблое место. Часть своего срока отбывал я и в знаменитом Горлаге в самом Норильске.

— И что же означает на тамошнем языке Кайеркан? — спрашиваю поэта, смертника 47-го года, вопреки всему ведущего со мной беседу и ныне, по истечении 66 лет.

— Кайеркан — это «смерть в рассрочку» — мгновенно и с коротким проблеском улыбки реагирует на вопрос Боровой. Так говорили заключённые в том лагере. Ну, а точнее, на языке живущих в тех краях ненцев-долган это означает «долина смерти». Да, а когда в 53-ем году умер Отец народов, приговор мне скостили уже до десяти лет. Вот так, на десятом году, только в 56-ом и вышел я из лагеря на свободу. Возвратился в Харьков.

Добавлю от себя, что Указ от 25 мая 1947 года «Об отмене смертной казни» появился «на просторах родины чудесной» не случайно, а именно по названному Василём Боровым причинам — ради интенсификации рабского труда заключённых, так как расстрел стандартно заменялся на 25 лет лишения свободы, то есть каторжных работ, с последующим поражением в правах сроком на 5 лет. Этот последний довесок наказания — уже для тех немногих, кто смог бы выжить после четверти века жестокой ледяной каторги. Не указ, а произведение садистского искусства, то, что теперь принято называть — простенько, но со вкусом...

А что касается Кайеркана, то ныне, вместе с другим гиблым районом таймырской вечной мерзлоты, Талнахом, он приобрёл красивый статус района-спутника Норильска, никелевого города, въезд в который разрешён иностранцам и сегодня только по специальным разрешениям местных властей.

Встречаемся мы с Боровым в здании Харьковского областного отделения Союза писателей Украины, в двухэтажном особняке на Чернышевской улице. Тут же, в этом же зале заседаний на первом этаже, в большой комнате с камином, пересекались мы с ним в минувшие годы десятков раз на писательских собраниях. Общались, не более, чем здороваясь. И сегодняшний наш с ним разговор — первый за все эти годы знакомства на расстоянии. Повод для встречи — мои переводы на русский язык семи его стихотворений, возникшие буквально на днях.

Это моё желание перевести Борового возникло спонтанно и неожиданно для меня самого, когда, перелистывая страницы попавшего мне в руки, из миллионного развала домашних книг, сборника «Святогоры», я прочёл именно это, приведенное здесь выше, ни на йоту не придуманное, стихотворение «Судилище». А затем и «Мир в слезе», и «Не рыдай мене, мати...» потребовали от меня не только по-настоящему вчитаться и почувствовать в поэзию Василя Борового, но и обратиться с переводами его стихов к русскому читателю. И конечно, возникло у меня отчётливое желание узнать о его человеческой истории больше, услышать о нём из его же уст.

Боровой появляется на нашей встрече вместе с женой, лёгкой и сухощавой женщиной с забранными под платок волосами, чрезвычайно активной и подвижной для своих 82-х лет.

— Лидия Ивановна. Ивановичи мы, — говорит она, знакомясь, — я вам не помешаю? И услышав в ответ, что нет, конечно, нет, тут же охотно включается в беседу.

— Расскажи, расскажи, как ты замёрзнуть решил! — бодро наседает она на мужа, когда я прошу его вспомнить о лагерных днях. Василий Иванович однако и сам готов поделиться давними воспоминаниями, судя по оживлению, появившемуся на его лице.

— Жалко, что мы не встретились с Вами раньше, когда я только вернулся оттуда. Тогда я бы мог многое Вам рассказать. А сейчас память уже слабеет... Да, скажу о том, как я решил замёрзнуть. То, что хлеба не хватало в лагере в Кайеркане, меня не пугало. Я к этому с детства привык. Мы с матерью вдвоём жили очень бедно. Но постоянные издевательства, злобные матерные окрики и угрозы надзирателей, тупые запреты на каждом шагу — словом, всю эту жизнь, беспросветную, как тамошняя полярная ночь, терпеть уже не было сил. И я решил, что лучше умереть. Поговорил с сокамерниками — сказали, что легче всего просто-напросто замёрзнуть.

Вот я и отошёл в сторону во время работ, сел незаметно в траншею и притаился. Закрыв глаза, чтобы поскорее заснуть. Сначала сидеть без движения было очень холодно, там морозы иногда и до шестидесяти градусов доходили. Сидел, изо всех сил терпел. А мороз драл нещадно, до самых костей. Потом вроде бы легче стало, и я заснул.

Но не смертным сном, как хотел.

Проснулся внезапно оттого, что надзиратель изо всех сил ударил меня кулаком в лицо, а потом ещё и пару раз прикладом по спине добавил. Им ведь приказано было лагерных рабов, даровую рабочую силу беречь. За каждого по счёту отвечали. Если что случалось, их к ответу привлекали, докапывались, что да как... Это вот только когда заключённый, решившись на са-

моубийство, объявлял вслух: «Охрана, иду!» и переступал за-
прещённую линию, вот тогда они уже стреляли смело на убой.
Им за это премия полагалась, за предупреждение, якобы, по-
бега...

Так вот и не удалось мне тогда замёрзнуть. Но заснуть оказа-
лось и вправду совсем не больно, не страшно — закончил Васи-
лий Иванович снова с короткой и задумчивой полуулыбкой.

— Но поэзия Вас там спасала?

— Да, спасала. Я был там просто переполнен стихами. Толь-
ко этим в Кайеркане и жил. И там мне лучше всего в моей жиз-
ни писалось. Хотя лагерными правилами строжайше запреща-
лось и читать, и писать. За это виновным срока добавляли,
и ещё какие! Но я сначала стихи записывал на клочках бумаги
от цементных мешков, а потом, когда с работы возвращались
в лагерь, прятал их в снег, прямо в снег, поглубже. Так что, если
туда сейчас приехать, то в этом снегу, в вечной мерзлоте, можно
мои стихи и сегодня отыскать — опять на секунду улыбнулся
Боровой.

— Так можно сказать, что большая часть Ваших стихов на-
писана в лагерях?

— Да, и не большая часть, а почти все! — порывисто, и как-
то совсем уже молодо, восклицает мой собеседник.

Может быть, Василь Боровой и не очень точен численно
в этом утверждении. Книжки у него выходили нередко. И в Кие-
ве, и в Харькове, вышло около двух десятков сборников, и стихи
в них печатались написанные в разные годы, в том числе и в по-
слелагерные. Но, конечно же, поэт прав в главном, прав по су-
ществу — там, на гиблом краю земли, на катаржанском берегу
Ледовитого океана, им написаны самые важные его стихи, те,
что спасали и спасли его самого от гибели, те, что остаются и се-
годня «человеческим, слишком человеческим» свидетельством
вчерашнего напроць бесчеловечного и жестокого социального
псевдопроекта. Остаются прямым определением и вчерашнего,

да и по многим признакам, ещё и сегодняшнего, безумия и мракобесия.

Я бы сказал, что стихи подобного трагического реализма, строки Василя Борового и Варлама Шаламова, строки «Красных помидоров» и «Махорки» Бориса Чичибабина, несут в себе явно ощутимую интонацию Евангельского, библейски стратегического миропонимания. Это не только стихи о псах-вертухаях, оборотнях-следователях и о рябом кремлёвском Чингизхане, это поднятые из невнятных глубин на поверхность смысла притчи о извечной, непримиримой и никогда неослабевающей, борьбе добра и зла, жизни и небытия, Бога и дьявола. Это оплаченное полнотой и чистотой страданий опознание и окликание по имени решающих понятий и ценностей.

Вывели из дому. Ой, не вернись!
В ночь отступает родная околица.
За Украину — сынов твоих, Русь, —
Матушка, став под иконою, молится.

Сон нависает над шляхом замком.
С шорохом вслед мне осока склоняется.
Белым платком, по-над крышей дымком,
Отчая хата со мною прощается.

Пронзительны, при том, что теплота и кротость голоса тоже присутствуют здесь, эти лаконичные строки воспоминаний Василя Борового о своём аресте, о жуткой минуте жизненного катаклизма. И этот, уже никогда впредь не покидающий сознания, внутренний стон возникает снова и снова и в других его стихах, таких, например, как «Грюкнули в двери», где мать в отчаянии вызывает к вооружённым чекистам, уводящим, скорее всего на погибель, её единственного сына:

За что? Школяр и сирота.
Росло без батька и без хлеба...

О том своём аресте 47-го года Василий Иванович вспоминает ещё раз и в нашем разговоре.

— Когда меня двое чекистов пришли арестовывать и вывели из дома, один из них мне сказал, ткнув рукой в наше открытое окно: «Да тебя за такие стихи надо прямо здесь, на этой раме, повесить!»

— Так зачем же дело стало? — говорю ему, — Давайте, исполняйте поскорей!

— Ну ты посмотри, какой же он наглый! Вместо того, чтобы прощения просить, он ещё больше нарывается.

— Прощения. Да что вам объяснять. Вы и не поймёте, и не посочувствуете, — закончил уже задумчиво и с печалью Боровой. Шестьдесят шесть лет миновало с того позднего вечера ареста, а печаль безвременна и исчезнуть никуда не смогла. Вот и вернулась на секунду, и прозвучала сама собой в уже усталом девяностолетнем голосе. Между тем голос поэзии этого человека, с судьбой, равной символу, остаётся по-прежнему недрогнувшим и несдающимся.

И стихи этого поразительно жизнестойкого поэта-каторжанина с расстрельным приговором за плечами свидетельствуют определённо не только о семидесяти годах, — а для верности скажем, о столетии, — безбожия, тотальной лжи и невиданного террора в отдельно взятой, пусть и до глупости бескрайней, стране. Не только о маленькой, легче птичьего пера, маме Анастасии Петровне, оплакивающей на берегу речки Уды своего Василька с волошками-очами. Это одновременно и стихи о вечном Ироде, о ежедневно и повсеместно распинаемом Христе. Это и библейское слово-весть о Матери и о Сыне:

То ли сон, то ли нет? Шелохнуться боюсь я...
Где-то печку топить начинает матуся.
И слезятся печальные очи любимой —
то ль от дум обо мне, то ль от едкого дыма.
Глухо хворост трещит. Время искрами скачет.
Золотинками слёз печка с мамою плачет...
Долго молится мать — обо мне в Норильлаге,

где сполохи небес багрянеют, как флаги.
Полночь к маме сошла, как апостол с иконы.
Тяжки, Боже-Христе, в Твоём мире законы!
...Вскинусь с нар, как из гроба — до боли в утробе:
«Не рыдай меня, Мати, зрящи во гробе».

А жизненные испытания на разрыв и на излом начались для Василя Борового ещё прежде его появления на свет.

— Отца моего убили за несколько месяцев до моего рождения — продолжает свой рассказ Василий Иванович.

— Это был 23-й год, и по окраинам Харькова ещё вовсю гуляли разношёрстные банды, вынырнувшие из кровавой мути и грязи Гражданской войны. Орудовали они, как хотели, и очень вольготно себя чувствовали. Отец и мать, тогда уже беременная мной, сидели тем летним вечером на скамейке у себя во дворе, прямо на берегу речки Уды. И вдруг из кустов сирени, что напротив, раздались выстрелы, убившие отца прямо на месте, на его собственном подворье. Пять пуль насчитали в его животе приехавшие разбираться чекисты. Ходили по двору с деловым видом, обещали расследовать нападение, но так ничего и не установили — кто убил, по какой причине... Был один человек, говоривший, что он сможет позже рассказать что-то об этом деле, но, пока он собирался с духом, его и самого убрали, тоже при невыясненных обстоятельствах.

Так что мать поднимала меня одна, продолжала работать на канатном заводе, как и до гибели отца, там у нас на Новой Баварии, в Октябрьском районе. А работа на «канатке» считалась опасной. Там почти сплошь женщины работали. И барабаны, на которые канаты наматывались, нередко захватывали то волосы, то пальцы работниц. Такие случаи там постоянно происходили.

Там же я и в школу пошёл, в 137-ю, на улице Лассалья. Её и закончил, десятилетку.

— А дом Ваш, Василий Иванович, по какому адресу находился?

— Не помню как-то, уже не помню. Просто был дом на самом берегу речки. Наследство моё, — снова улыбается Боровой, — там у нас до сих пор кусок огорода остался. Сестра жены туда изредка заглядывает. А мы уже не выбираемся, конечно.

На долю голубоглазого и светловолосого мальчугана, которому мама так любили читать вслух стихи в доме над Удами, выпали и иные, совсем не школьные и не книжные, но незабываемые в своей жестокости, уроки. Голодомор 1932—33 годов на Украине был ничем иным, как планомерным и безжалостным уничтожением миллионов людей тотальным голодом — убийством на их собственном подворье, как и в случае с Василёвым отцом. Таким же brutальным убийством, но только не пятью мгновенными пулями в живот от бродячей слобожанской банды, а многодневным, мучительным, воистину сатанинским измором — по приказу банды кремлёвско-великодержавной, куда более масштабной.

Харьковщина оказалась одним из тех регионов, где число погибших, точнее, уничтоженных, людей было особенно велико. О этих, теперь уже безымянных, жертвах геноцида, немало, в частности, написано на страницах книги итальянского консула тех лет в Харькове Сержио Градениго. А впечатления мальчика Василя, девяти-десятилетнего очевидца тех страшных дней, откликнутся позже в его лагерных стихах «Вспомнилось», безыскусных и пронзительных в их обыденной и страшной правде:

Во двор въезжали с матюками
и брали, брали — всё до тла!
Под вой собачий с «кулаками»
боролась «Красная метла».
— Куда ж мы? — нет лица на маме.
Метла смеялась — и мела.

И вот канва биографии, год за годом, десятилетие за десятилетием: 23-й год — убийство отца, 33-й — уничтожение голодом и насилием сотен сородичей на глазах подростка и миллионов за пределами его зрения, 43-й — дважды в течение года взятие

Харькова, проклятого места для Красной армии, ценой неисчислимых жертв, 53-й — смерть тирана и новые смуты, в том числе знаменитое Норильское восстание в Горлаге, свидетелем которого был также и его заключённый Боровой с номером Б-301 на спине бушлата (Вспоминает о номере в нашей беседе сам Василий Иванович — надо же: адрес дома над речкой выветрился из памяти, а бесовская лагерная метка навсегда врезалась в сознание). Как раз одним из требований восставших в Горлаге, звучавшим чуть ли не громче прочих, было требование снять эти инвентарные номера со спин заключённых.

— Женщин там было около десяти тысяч, в основном с Западной Украины, почти все молодые, с косами до самой поясницы, — вспоминает Боровой, — и они особенно отчаянно бунтовали, швыряли табуретками в охрану и в солдат. И кончилось тем, что покосили большинство из них пулемётов, а вслед за этим ещё и танками подавили. Сколько там погибло? — Да кто их считал... Известная присказка.

63-й год, если следовать далее десятилетними шагами, — вернувшийся из лагеря в Харьков Боровой пытается работать электриком, в частности, на коксовом заводе, но встречает враждебное отношение и администрации, и гегемона — не хотят видеть рядом «врага народа». Приходится уходить. 73-й — приходится уходить и из Союза писателей, так как исключен из него в ходе очередного агрессивного приступа охоты на антикоммунистических ведьм на Украине, в ходе репрессий брежневских партийных боссов против всех, кто не хотел оставаться ниже плинтуса. Для Василя Стуса, к примеру, арест того 73-го года закончился безвременной гибелью в мордовских лагерях.

Но удивительна особенность поэзии Борового, особенность, несомненно берущая исток в самом характере, в самой генетике поэта — у человека столь нелёгкой, более того, полной трагизма, биографии, в стихах, вместе с порывисто-бунтарским правдолюбием и обличением зла, ясно ощутимы и теплота, и кротость, и бесконечное великодушие, и какое-то одновременно скорбное и любовное отношение к дорогим ему основам

бытия. То ли к родным природным, а одновременно и к духовным, ландшафтам:

Жаринка, искра зверобоя,
О как мне здесь тепло с тобою,
Где речка кроткая течёт,
Где из яруг сочитя морок,
Где сотню перемножь на сорок —
И то не всем печалям счёт!

То ли к той святой женщине, его матери, которая растила его одна, провожала на смертную муку, а потом и ждала назад целую вечность, и встречала снова в том же доме, откуда уводили его палачи, встречала после десятилетия таймырских ледяных лагерей:

Вы видели мою маму? Морщинки избороздили
ласковый её облик, тишь её и простоту.
Сам Бог позавидовал, видно: пришли и сына схватили.
Нужны ж им рабы на Север — кайлом вырубать руду.

Вы видели мою маму... Вон, в одежде дырявой
Сидит она, смотрит протяжно в потустороннюю тьму.
А рядом с ней Ангел смерти, печальник с недоброй славой,
Стоит и роняет слёзы — и сам не поймёт, почему.

Истекает час с лишним нашей беседы с Боровым. Понимаю, что неверно было бы излишне утомлять собеседника в столь серьёзных годах. Вызываюсь отвезти Боровых к ним домой на проспект Гагарина. Оба сразу же и одновременно соглашаются, тем более, что возвращаться им сегодня из Дома писателей предстоит с грузом, хотя и приятным, но увесистым. Этот груз — упаковка из тридцати книг нового издания стихов Василя Борового «Красное солнце Кайеркана», которое только что напечатано здесь же, в издательстве «Майдан» при Союзе писателей. Напечатано к уже скорому сентябрьскому 90-летию поэта.

По пути в моей выдавшей многие виды трудовой «восьмёрке» заходит речь о том, что живут Боровые в своём доме на про-

спекте с 73-го года, того самого года, в конце которого поэта исключили из Союза писателей. Исключили почти единогласным голосованием, вместе с другим харьковским «антисоветчиком» Борисом Чичибабиным, в том самом особняке, где сегодня происходила наша беседа. Ибо сверхбдительные холуи-идеологи в партийных кабинетах, признав их обоих в очередной раз недругами партии и врагами народа, тут же спустили вниз приказ на исполнение в писательский союз послушным обладателям членских билетов с золотым орденом на красной обложке. Ну, да оказывается, происходили и другие события в 73-ем году.

— Это счастье, что ордер на нашу квартиру из Киева пришёл тогда в Харьков прямо в отделение Союза писателей. Попади он в руки к городским властям, нам бы никогда этого жилья не видеть! — говорит с заднего сидения Лидия Ивановна. — А ведь жили до этого вчетвером в одной комнате — с дочерью и мамой Анастасией Петровной. И из Союза нас исключили в том же 73-ем, вот так у нас всё вместе...

— Да, как будто и перебрались недавно, а в этом доме — уже сорок лет, — задумчиво произносит сидящий впереди Боровой, — и сам не знаю, зачем я живу так долго...

— Но Он знает, Василий Иванович, — показываю пальцем вертикально вверх, — «Но Он-то даром срока не даёт.....» — припоминаю свою строчку. — И живите, пожалуйста, ещё долго. Вот ведь, сегодня Вы с новой книжкой в руках!

— Ну да, наверное, так, — легко соглашается Боровой.

Нет сомнений, что сроки и даты всех жизненных событий, назначенные Господним промыслом каждому из нас, куда справедливей и человечнее людоедских приговоров маньяка Сосо Джугашвили и всех его приближённых «тонкошеих вождей». И небом неслучайно посланы долгие годы борьбы и служения многим из тех несдавшихся, из чьей жизни вырваны целые живые десятилетия лагерями, казематами и каменными ямами. Среди людей с такой особенной, выразительно сим-

воличной судьбой и 113-летний кошевой запорожцев Пётр Калнышевский, и ученый и писатель Николай Морозов, и литературный открыватель ГУЛАГа Александр Солженицын, и писатель Олег Волков, все преодолевшие черту девяностолетия. В этом их патриаршьем ряду достойное место занимает и мужественный человек и поэт Василь Боровой, наш сегодняшний современник.

Те сроки и срока, что посланы ему и свыше, и от лукавого, становится в сумме не только метафизическим, но живым, полновесным и многозначительным, свидетельством времени. А его глубоко личностная, полная теплоты и певучести лирика обретает звучание эпоса и новой повести временных лет.

Так что, скорее всего, и он сам, вместе с высотными небесными замыслами и промыслами, знает, догадывается, зачем живёт так долго. И скорей всего, ему сейчас хотелось бы услышать от собеседника всего только слова поддержки и понимания, которыми наверняка не избаловали его миновавшие девяносто лет. Посему и повторяю ещё раз мысленно: «Живите, пожалуйста, ещё долго, поэт и летописец!»

— Спасибо, — говорит он, когда я помогаю ему выбраться уже возле подъезда его дома из тесноватого кузова восьмой жигулёвской модели и подаю ему в руки увесистый крепкий посошок, — спасибо, я, когда уже стартую, дальше иду хорошо.

Чувство юмора явно не покидает этого удивительного человека и на исходе девятого десятка лет жизненной борьбы. Пожимаю на прощание руку Василя Борового. И приходит ощущение того, что в сегодняшней нашей хорошей, непустой, беседе поставлена очень правильная точка. Как раз та, что связана с понятием «точность», завершённость.

Руки — сакральное в человеке, свидетельствующее о нём, так же, как сердце и глаза.

Увидев руки и глаза человека, можно почти наверняка судить о его сердце и душе.

Глаза поэта Василя Борового по-прежнему полны поздне-небесной голубизны — приглушённого колера глубокого и словно бы уже устающего от себя самого лета. И по-прежнему они

широко распахнуты в мир, как будто бы даже с некой лукавой весёлостью и рискованной порывистой отвагой.

А в руке его, одновременно и лёгкой, словно бы легчающей с течением времени, и сохранившей былую силу камнеруба-катаржанина, мне ощутимо слышится ток ответного тепла, устремлённого навстречу моей ладони.

Сердце же вольнолюбца и драконоборца, труженика и творца Василя Борового навсегда поселилось в его поэзии. Его стихи живут и будут жить, ибо они как горькое лекарство правды по-настоящему нужны и сегодня его материнской земле. Нужны его Украине, всё ещё обретающей свою суть в трудном и болезненном поиске. Всё ещё идущей по крестному пути — к себе настоящей, задуманной человеческим Богом.

2013

ДНЕСЬ, ДАНАС

2013-й год начался для меня необычно и неожиданно. После новогодних, по-родственному тёплых, посиделок в гостях у дочери и внука, под особенно пышно-разлапистой и пахучей на этот раз, праздничной сосновой хвоей, я возвратился в своё гнездо на Чернышевской улице уже в начале третьего ночи. И тут же, по укоренившейся в последние годы привычке, заглянул в свою ячейку мировой информационной сети — в почтовый ящик мэйл.ру. Точно так же, думаю, и во все незапамятные времена не терпелось каждому настоящему ловцу-рыбаку поскорее провести свои невода-тенёта: не затрепещет ли в них рыбка — серебряная простая, а то и особенная, золотая?

Письмо, ожидавшее меня в праздничном почтовом ящике, в глубине новогодней ночи, несомненно принадлежало к категории «нечаянная радость». В нём я обнаружил пять моих стихотворений, почерпнутых, ясное дело, из интернета, в переводе на сербский язык, лаконичное поздравление с Новогодьем и подпись — Владимир Ягличич. Так впервые, с удивлением и радостью узнавания, прочёл я около сотни своих строчек по-сербски и так впервые познакомился с сербским поэтом Владимиром Ягличичем, живущим в Крагуевце, в Шумадии — историческом сердце Сербии.

До того дня, вернее, до той ночи 1 января, наши жизненные траектории не соприкасались ни в пространствах интернета, ни в реальных координатах. Теперь же, поискав своего нового знакомого на нескольких литературных сайтах, я прочёл, что Владимир — известный писатель, автор десятка собственных книг стихов и прозы и чрезвычайно активный и опытный переводчик поэзии со многих языков — количество его переводческих томов исчисляется уже многими десятками. И уже почти двадцать лет он неутомимо трудится над созданием антологии русской поэзии XX века в переводе на сербский язык. Без всяко-

го преувеличения, его можно назвать подвижником, торящим пути русской поэзии к сербскому, да и к балкано-славянскому в целом, читателю.

События, несущие в себе живительный заряд «нечаянной радости», эти редкие подарки, словно слетевшие к тебе с небес, конечно же, не забываются. Так вспоминаю я с особым чувством и своё, уже давнее, лето 1984-го года, когда из Москвы, из редакции «Молодой гвардии», позвонили мне совершенно неожиданно, сообщив, что вскоре будет напечатана моя первая книжка стихов «Всадник-май». То был, несомненно, очень важный для меня и обнадеживающий поворот судьбы и, при всей внутренней закономерности этого события — некий счастливый выигрыш в непредсказуемой лотерее житейской круговерти.

После «Всадника-мая» вышли в свет ещё двадцать моих книг стихов и прозы, и каждая из них мне дорога по-своему. Но такого ярко-молодого и ободряющего ощущения благосклонности небесной канцелярии, как тем летом 84-го в Киеве, на днепровской набережной, где застала меня внезапно московская весть, я, наверное, уже не испытывал. Сегодня нет уже среди живых ни редактора Галины Рой, ни чистосердечного лирика, поэта Коли Дмитриева из подмосковной Балашихи, написавшего напутственное слово к моей первой книжке. Помню о них и о тех днях моего неофитства, помню о живом трепете надежды и мысленно произношу вослед ушедшим людям, вослед пролетевшему времени: «Спасибо, спаси Бог...»

Чувство, напомнившее мне ту радость далёкого 84-го года, возникло во мне и в нынешнюю новогоднюю ночь — навстречу светящимся на экране компьютера строкам письма Владимира. Конечно, интенсивность моей теперешней реакции не могли не приглушить, в сравнении с той, давней, три десятилетия реального бытия с его неизбежными ежедневными уроками и постоянными счетами к оплате. Но негромкая умиротворённость с неким привкусом лёгкого удивления: «А справедливость — нет, нет, да и заглядывает к нам в гости...», явно поселилась внутри меня в ту минуту.

И благодарность моя только что совсем незнакомому человеку, возникнув в сознании, всё крепла: ведь и впрямь по-настоящему великодушен его поступок — отыскать стихи в сети,

приветить их, сделать переводы да ещё и столь обнадёживающе превратить их в новогодний дар и символ! Что-то подсказывало мне изнутри, что в первые часы первой ночи 2013-го года по сути рождается моя новая книжка стихов — и при этом совсем необычная, такая, каких у меня до сих пор ещё не бывало. И название у неё будет краткое, но не простое, по-сербски звучащее, «Данас», что и в старорусском варианте «днесь» определяет одно из самых точных и ёмких имён времени.

Прежде я, конечно же, нередко летал во снах, — то паря, то лихо ускоряясь, — ныне такие полёты стали уже не столь частыми. Хотя и надо признаться, без всякого лукавства, что и до сих пор эти ночные ощущения реликтовой крылатости не оставили меня на полный откуп земной гравитации. А иначе, наверняка, и всё новые стихи, невесть чьи и невесть откуда, не влетали бы, сами собой, в моё жилище — пошептаться, помолчать, спеть что-то любимое. А там, глядишь, и остаться, если, конечно, им захочется, — буквами и словами, — на листе бумаги.

Мой полёт во сне этой новогодней ночью, уже после четырёх часов, после отправки электронного письма-ответа Владимиру, оказался щедро благодатным по ощущению и узнаваемым по пространственным координатам. Я не просто парил или кружил в воздухе, как бывало раньше, в общеполитическом, сказать бы, антигравитационном контексте, но двигался в полёте целеустремлённо и словно бы победительно. Это был даже не полёт, а некий протяжный и замедленный прыжок в длину вдоль пологой подошвы склона крымской горы в местах обетованных — в хорошо знакомых мне по многочисленным юношеским и зрело-моложавым приездам.

И это было исполненное значения возвращения именно сюда в Малый Маяк, то есть, в Кучук-Ламбат (что сказано на таврической смеси греческого и турецкого), к тем самым пенатам, которые явно или же подспудно, но всегда живым и освежающим воспоминанием, проникали и проникают в ткань и в интонацию множества моих крымских песен. Ещё точнее, возвращение в спортлагерь моего университета, лежащий прямо на берегу Понта Эвксинского, как раз по середине пути по кромке моря между двумя знаменитыми, потухшими ещё в древности, вулканами — Аю-Дагом и горой Кастель. Давно я уже не загляды-

вал сюда, приезжая в последние годы то в пушкинский Гурзуф, то в волошинский Коктебель, а то и к азовскому берегу Крыма, на Казантип. И вот снова принесло меня некой метафизической волной именно сюда, на незабываемый клочок побережья под посёлком Малый Маяк. И сколько же раз ходил я отсюда пешком вдоль берега моря до Профессорского (теперь Рабочего) Уголка под Алуштой, до того склона горы Кабель, на котором, в начале XX века, в белом домишке с «огромным коричневым садом», родились замечательно-молодые стихи Осипа Мандельштама, памятные многим читателям поэзии каждым своим звуком — от «Золотистого мёда струя из бутылки текла...» до «Одиссей возвратился, пространством и временем полный...»

Ощущение приснившегося полёта-прыжка между Аю-Дагом и Кабелем оставило и после пробуждения живое и бодрящее послевкусие, и, пусть покажется странным, но в памяти совершенно отчётливо задержался и весьма достойный результат этой попытки — 737 сантиметров, объявленный чьим-то уверенным голосом за кадром сновидения. Похоже, что воздухоплователь-ветерана и извечного собеседника Крыма по-настоящему вдохновил и окрылил новогодний сюрприз сербского поэта, подтолкнув к столь многозначительным и ярким фантазиям-символам.

* * *

Но перейду, пожалуй, от предыстории и предощущений события ближе к самому событию — к этой, похоже, живорождённой, книге, название которой, «Данас», возникло почти сразу же, спонтанно, при прочтении мной самых первых переводов, сделанных Владимиром Ягличицем. В «данас и днесь» слышатся и Дионис эллина, и дениз-море османа — неслучайные отголоски, непустое эхо. И это «данас-днесь-сегодня» — и вправду одно из самых важных и ёмких имён такой загадочной и всевластной субстанции, как время. Ибо «сегодня» вмещает в себя не только окончание «вчера» и начало «завтра», что очевидно, но вмещает, — и в метафизической, и в реальной сущности, — и прошлое, и будущее во всей их полноте, как две, всегда пересечённые в «сегодня», полубесконечности.

Наверное, и многие из моих предыдущих книг, — то безотчётно, то осознанно, — были названы именами, взятыми из ряда бесконечно-изменчивых, и всегда только приблизительных, имён времени: «Всадник-май», «Три времени судьбы», «Вечеря», «Июнь-июль», «Эон» и наконец, «Аве, август» минувшего года. Да и сквозь названия других моих книжек «неизменно дует ветер свежий» — ветер перемен и странствий. Такими, по крайней мере, они мне представляются. В этих словах на обложках — и ощущение, и, наверняка, уже потребность в подвижности времён и пространств. В них смешаны и тяга-тоска вечера, и бодрящий сквозняк утра, неустанно зовущие в дорогу: «Воздушные коридоры», «На кордоне», «Мандры» («Путешествия»), «Парусник»...

«Затем и бродяжишь, чтоб высветить ближнее дальним...», затем и улетаешь, уплываешь невесть куда, чтобы пристальней взглянуться в свою собственную суть. Чтобы понять нечто важное о самом себе, взглянув на свой мир под новым углом зрения, порой острым и неожиданным.

Поэт, читатель поэзии — всегда странник, путешественник в пространстве и во времени, «очарованный странник», говоря словами Н. Лескова. И я искренне благодарен счастливому расположению звёзд и сербскому поэту Владимиру Ягличичу за то новое и чрезвычайно важное для меня путешествие, которое неожиданно началось в новогоднюю ночь 2013-го года. Два полных зимних месяца, когда рождалась эта книга «Данас», все дни января и февраля, все днесь-сегодня, помеченные, каждое своим, календарным числом, были одушевлены для меня всё новыми и новыми виртуальными погружениями в старую и новую историю Сербии, в её искусство и литературу, в её языковую и песенную стихию.

С Косова Поля переносился я в Герцеговину-Захумлье, на родину Святого Саввы. От дунайских берегов Белграда, от Сараево и Мостара, тоже накрепко связанных с историей сербства, — к печальному греческому острову Корфу, «где цвета лимун жут», откуда и до сих пор звучит песня скорби, гимн и молитва сербского воинства, «Тамо далеко», проникая в самую глубь каждого славянского сердца.

И перелистав на библиотечном сайте полторы сотни страниц тысячелетнего «Мирославова евангелия», я снова возвра-

щался к Николе Тесле, к его строкам о сербском поэте Змае Йоване Йовановиче, в которых он ещё в начале минувшего века точно произнёс именно то, что сам для себя я осознал в полной мере только в последние недели; воистину сербы — нация воинов и поэтов. И сам Никола Тесла, по моему глубокому и давнему убеждению, — не только инженерный гений, который, по определению, например, американцев «изобрёл XX век», но более и выше того, но в первую очередь, он — некий сверхпозитивный и светоносный ответ сербского духовного генома на все несчетные вековые страдания своего народа. Серб Господа, великий воин человеческого и Божьего Духа.

А читая прочувствованную статью Теслы о Йоване Йовановиче, могу ли я не помянуть добрым словом своего кровно-дорогого человека, носившего то же, по сути, имя — своего деда Ивана Ивановича, отца моего отца?

Иоанн Иоанныч, не выдохнуть гласных священное,
не найти всенародное имени и веселей...

Сторона моя русая, правда моя погорелая!
Что и взять с тебя — водки пузырь да костей полведра?
Не за это люблю тебя. Вот, что от сердца я сделаю —
снова вспомню своих: Иоанна, Николу, Петра...

Сама же нынешняя встреча с сербским языком для меня — словно встреча с дорогим и всё ясней и полней вспоминаемым прошлым. Снова ярко-белые полотняные одежды до самой земли, вышивки красным крестом на груди праславянских детей и женщин явственно оживают перед глазами. Отголоски и отзвуки древнеславянской речи завораживают слух, согревают и радуют душу. Самоценный и полный энергии язык, но сколько же слышится в нём родных и узнаваемых корней из русского и украинского, из зернистого старинного речения «Слова о полку Игореве» или Несторовой летописи!

Услышишь ли в по-сербски «песник» (поэт) или «песма» (стихотворение), и сразу же угадаешь, со слуха, суть нового для тебя слова. И между песней и письмом как будто ещё больше стирается грань, ибо и то, и другое — сохранённая память, за-

печатлённое время. И то, и другое — из единого, циклически повторяемого ряда: имена, письмена, времена. Прочитаешь ли «домаћин» (хозяин), и подумаешь, насколько ёмко и полнозвучно скрепилось в себе это слово, и как чревато его плотное лингвистическое зерно ветвлением всё новых и новых самоопределений: он, домаћин, и в доме всё, от пола до кровли, починит; он же и среди чад-домочадцев праведный суд учинит, и всё, даст Бог, вослед его неустанным трудам, что в дому, что на подворье, будет чин-чином, чин-чинарём. А «шума» (лес), — и тот самый, что сторожит склоны Шумадии, тоже, — разве не готовый, живой и выразительный, поэтический образ шумливых полнолиственных ветвей, запечатлённый в одном слове?

Или же «едрилица» (парусник) объявится вдруг белым полотнищем над виноцветием Ядрана. И тут же некое световое ядро, заряд благодатной энергии, — и морских вод, и человеческой отваги морехода, — заиграет и высветится ещё ярче и лучистей. Нет, не смутит моего благодарного слуха лёгкое фонетическое смещение начальных гласных. Затеплится рядом и мерцание «ядрицы» русского языка, зерна твёрдых и благородных пород, тяжелеющего в корабельном трюме. Или, наконец, — великолепно звучное, простое и точное, имя Божье и человечье, переходящее мне прямо в сердце из сербской речи, — «Божич»! Бог-младенец, Бог-человек — сколько же теплоты и любви в этом сербском наименовании праздника Рождество Христова!

Я вспомнил здесь, конечно, лишь о нескольких словах, устремившихся мне навстречу из стихотворений Владимира, из его сербских переводов моих стихов. И казалось бы, что это лишь отдельные примеры слов-образов, слов — смысловых сгустков. Но за этими частностями явственно видится мне и неизмеримо большее — необъятное пространство родственной и неповторимой речи, её живое дыхание. За ними — возможность благодарного и любовного узнавания, осмысления, исследования нового для меня языкового и духовного богатства, возможность причащения к новым путям вольнотекущей и чистоструйной реки-речки-речи.

Да и от частных слов-образцов, от этих сверхтвёрдых зёрен сербского языка, честное слово, уходить не хочется. Вот они

снова стоят, словно сплочённые воины в строю, плечом к плечу, без единой слабину-прогалины, эти слова, эти буквицы — знаки сплошь согласных мускулистых звуков: крв и срп, врх и смрт, прст и брз, црн и црвен. Или же, чуть смягчаясь к концу слова гласной: срце и црква, дрво и врба, зрно и грло, срна и грба. И переводить-то на русский, пожалуй, мало что надо из этого пространного ряда, разве что «врх» — острие пики, копья, булата, наряду с острием горной вершины. А в иных сербских словах, твёрдых и упорных, подобных самому характер народа-воина, там, где рядом с мускулином традиционных согласных кириллицы, стоят буквицы Вука Караджича, узнаю в его ħ, ħ̌, в их верхушках-крестовинах, те силуэты православных часовен и церквей, что видел я в майском небе Котора и Будвы, Цетине и изумрудной Боки Которской.

И невозможно не устремиться ответно навстречу, с открытой душой, к родственно-памятной речевой стихии, к сербскому поэту Владимиру Ягличичу, пробудившему эти воспоминания:

Когда я говорю: «Мне дорог Нико Тесла,
славянского гнезда магический пилот»,
я знаю, что душа Николы не исчезла,
что не сбавляет ход сети вселенской крот.
И вновь я повторю: «Мне сербы серебрятся —
и там, где у ножа спиральна рукоять,
и там, где — Божедар, Кирилл, Мефодий! — святцы
не могут о родном со мной не толковать.

.....

Вот и гляжу в глаза электрочудотворцу. —
Мой Тесла, сердцем серб и почвою хорват,
дар молний обрета в геноме змееборца,
при каждом Божьем дне мне — собеседник-брат.
Чтоб с ним потолковать о малом и великом.
вернее, помолчать, свежей любых речей,
я все чистовики сложу пред Отчим ликом —
на юге, рай-дуге, на севере ли диком —
всю жертвенность ягнят, всю мускульность вещей...

Эти же слова о взаимопритяжении наших культур звучат и в мартовском письме Владимира,

написанном уже в дни завершения нашей работы над книгой: «У меня есть ощущение, что многое из нашей совместной работы останется в наших братских культурах».

Большое спасибо ещё раз, дорогой Владимир, много хвала.

Разделяю Ваши надежды — да будет так. Дай Бог и Боже помози!

2013 г.

УКРАИНА, РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, ДАЛЕЕ — ВЕЗДЕ

3 декабря 2013 года в уютном каминном зале писательского клуба Харьковского отделения НСП Украины прошло торжественное награждение победителей и лауреатов первого конкурса «Международной Славянской Поэтической премии», учреждённой в минувшем 2013-ом году Харьковскими отделениями Национального Союза Писателей Украины и Фонда Культуры Украины, Государственной Научной библиотекой им. В.Г. Короленко и объединением предприятий «Корпорация Гидроэлекс» для поддержки и поощрения литературного творчества молодых поэтов в возрасте до 30 лет.

Слава Богу, в этот декабрьский вечер, не щедрый на снега, как и все последние здешние зимы, с хмурых харьковских небес посыпался почти невесомый снежок. Так что живописным фоном для праздничных красных гвоздик литературного торжества всё же послужила не безнадёжная тьма за окном, а некое диалектическое сочетание быстро тающего белоснежья и уверенной в себе черноты городского гудрона. В качестве же звукового фона вполне уместно, и ничуть не навязчиво, потрескивали аккуратные чурки дубовых дров в камине выдавшего многие виды писательского зала на Чернышевской улице.

Международное жюри Премии принимало для рассмотрения конкурсные поэтические подборки из семи стихотворений от авторов поэтических книг или объёмных публикаций в журналах, альманахах, сборниках. Особенность этой вновь учреждённой премии, отличие её от множества иных ныне существующих литературных наград состояло в том, что рассматривались подборки стихотворений от авторов, пишущих на любом из тринадцати государственных славянских языков: белорусском, болгарском, боснийском, македонском, польском, русском, сербском, словацком, словенском, украинском, хор-

ватском, черногорском, чешском. Уже одно только это обстоятельство речевого многозвучия и полихромности произведений участников требовало от членов жюри конкурса и нестандартного набора лингвистических знаний, и особого языкового чутья, и уважительного, заинтересованного отношения к творчеству представителей разных языковых ветвей многовекового и раскидистого древа славянской культуры.

В жюри «Международной Славянской Поэтической премии» вошли: Виктор Бойко (Украина) — поэт, лауреат литературных премий, Красимир Георгиев (Болгария) — поэт, прозаик, переводчик, лауреат литературных премий, Олег Комков (Российская Федерация) — поэт, переводчик, критик, доцент МГУ, Игорь Лосиевский (Украина) — поэт, критик, лауреат литературных премий, доктор филологии, Константин Савельев (Украина) — поэт, заслуженный работник промышленности Украины, Сергей Шелковый (Украина) — поэт, прозаик, переводчик, критик, лауреат литературных премий, председатель жюри, Владимир Ягличич (Сербия) — поэт, прозаик, переводчик, критик, лауреат литературных премий. Все члены жюри — специалисты в области нескольких славянских языков, авторы многих книг оригинальной поэзии и сборников поэтических переводов.

В конкурсе приняли участие около тридцати молодых поэтов из четырёх стран — Украины, России, Болгарии, Чехии. И творческий девиз конкурса, объявленный в Положении о «Международной Славянской Поэтической премии», — гуманизм, духовность, гармония; интеллектуальный и эстетический поиск в поэзии; взаимодействие и взаимное обогащение культурных пространств разных стран, — по-своему, индивидуально и неповторимо, нашёл своё отражение в поэзии каждого из участников, в звучании каждого из языков.

Победителями Первого конкурса «Международной Славянской поэтической премии» 2013-го года были признаны молодые талантливые поэты из трёх стран — Любовь Якимчук из Украины, Максим Бессонов из Российской Федерации и Лора Динкова из Болгарии. Им торжественно были вручены дипломы лауреатов и денежные премии в снежный декабрьский вечер в клубе Харьковского отделения Союза писателей Украины, в присутствии

заполнивших зал представителей творческой интеллигенции города. При этом денежный размер «Международной Славянской Поэтической премии» составил: за первое место — эквивалент суммы \$500 по курсу Госбанка Украины, за второе место — эквивалент \$300, за третье место — эквивалент \$200.

Конечно, при определении лауреатов Конкурса у семи членов жюри возникали разные мнения и оценки, что было естественно и неизбежно. Но в обретении взвешенного общего мнения, в достижении консенсуса заключалась априори и творческая задача, и немалая работа международного профессионального жюри. Работа эта продолжалась по сути в течение многих месяцев, начиная с мая, когда стартовал приём рукописей, и вот в этот декабрьский вечер завершилась наконец на вполне мажорной ноте.

Вот, к примеру, выдержка из заключения Олега Комкова, представлявшего в жюри Российскую Федерацию, поэта, переводчика, опытного педагога и исследователя в области филологии: «К сожалению, украинским и болгарским я не занимался и не работал с ними, поэтому звучание стихов, написанных на этих языках, от меня всё-таки ускользает. Однако поэтическое мастерство и проникновенность авторов видны и в письменном слове. В стихах Любови Якимчук многое показалось мне в чём-то родственным поэтике Веры Хорват, которую я сейчас перевожу с сербского. Тексты Лоры Динковой в очередной раз подтверждают глубинное родство поэзии и философской мысли — подлинной, не «научно-системной», затерминологизированной, а живой, простой и глубокой в этой своей простоте. Максим Бессонов пишет на родном для меня языке, поэтому здесь я слышу и музыку, и мысль достаточно полно. Не все строки его мне близки, но то, что поэт знает «особое состояние слов» (Седакова) — очевидно и слышно, равно как и искренность лирического высказывания».

В итоге решение о трёх призёрах Конкурса было принято единогласно. И в дополнение дипломантами «Международной Славянской Поэтической премии» стали молодые интересные поэты — О. Воробьева, И. Кива, С. Куликов, В. Карпюк, М. Лаюк, А. Минакова, получившие свидетельства дипломантов Конкурса и свои порции аплодисментов от собравшейся в празднич-

ном зале публики. Время для лаконичного выступления и чтения своих стихотворений, вместе с гвоздиками, особенно ярко алеющими в этот чёрно-белый декабрьский вечер, получили, как лауреаты, так и дипломанты Конкурса. Церемония награждения лауреатов и дипломантов записывалась представителями радио, телевидения, информационных областных сайтов, и записи о праздничном вечере, интервью с победителями конкурса, их фото оперативно появились в эфире.

Наверное, есть определённая закономерность в том, что этот новый, и обладающий существенными признаками новизны, творческий конкурс стал проводиться именно в Харькове. Многое говорит о том, что это город — и помнящий, и способный умножать свои богатые научные, культурные, литературные традиции, город, открытый для активного международного сотрудничества. Не просто полуторамиллионный мегаполис, пятый по населению город Восточной Европы, — после Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Варшавы, — но и средоточие большого человеческого, интеллектуального и творческого потенциала. По числу ВУЗов, в частности, Харьков долгие годы оставался третьим городом в Союзе, сразу же вслед за Златоглавой и Питером. Харьков — город нобелевских лауреатов биолога И. Мечникова, физика Л. Ландау, экономиста С. Кузнеця и множества других выдающихся деятелей науки и культуры, его исследовательским институтам и университетам принадлежит немалое число мировых научных приоритетов.

Так, в частности, если говорить о гуманитарной сфере деятельности, то широко известными строителями духовности славянского мира, работавшими в Харьков на протяжении последних трёх веков, были поэт и философ Григорий Сковорода и выдающиеся филологи Александр Потебня и Юрий Шевелёв. Их исследовательские и мировоззренческие идеи, органически вошедшие в общеславянскую культуру, являют собою и сегодня некий святыщийся, питающий последующие поколения, путеводный пунктир, протянувшийся через три столетия и через множество пространственных границ.

Конечно же, Харьков, был и остаётся одним из важнейших духовных центров, связанным с формированием и развитием украинской и русской литературы и в Украине, и в более ши-

роком контексте. Достаточно назвать ряд славных имён украинских писателей и поэтов, создававших свои произведения в Харькове: П. Гулак-Артемовский, Г. Квитка-Основьяненко, М. Кропивницкий, П. Тычина, М. Рыльский, В. Сосюра, М. Семенко, Е. Плужник, О. Вишня, М. Кулиш, В. Свидзинский, Г. Эпик, В. Полищук, О. Досвитний, В. Пидмогильный, М. Йогансен, Л. Курбас, А. Довженко, В. Эллан-Блакитный, М. Хвылевой, Г. Тютюнник, О. Гончар, В. Мысык, В. Боровой, И. Муратов, Р. Третьяков.

Накрепко связаны с Харьковом своими творческими биографиями и известные русские поэты и прозаики: Г. Данилевский, Н. Костомаров, Н. Гнедич, И. Бунин, М. Арцыбашев, А. Аверченко, Б. Савинков, Г. Шенгели, В. Хлебников, О. Мандельштам, Б. Пастернак, В. Нарбут, С. Есенин, В. Маяковский, Н. Асеев, А. Ахматова, М. Цветаева, Д. Бурлюк, И. Северянин, В. Катаев, Ю. Олеша, Г. Петников, К. Тренёв, Н. Островский, А. Макаренко, Е. Ланн, Г. Владимов, М. Кульчицкий, А. Введенский, Д. Кленовский, Б. Слуцкий, Н. Воронель, В. Дудинцев, Э. Лимонов, Л. Копелев, В. Мотрич, Ю. Влодов, Ю. Даниэль, Б. Чичибабин, В. Козовой, В. Бурич, Ю. Милославский, Е. Евтушенко, Л. Яковлев.

Работая летом и осенью минувшего 2013-го над двумя статьями о Георгии Шенгели, открывая всё новые для себя материалы о харьковской литературной жизни начала XX века, я ещё раз убедился в том, что книга под названием «Харьков и Серебряный век русской поэзии» непременно должна быть когда-то написана. Собственно, — пока ещё без букв, слов и предложений, — эта книга властно и выразительно существует в пространстве бытия и истории — полная живых красок и звуков, символических и незабываемых событий. Дело за малым — перо и бумага. Де ещё — любовь, понимание, небеспамятство и благодарность будущего автора.

В своих строчках, возникших параллельно с написанием очерков о Шенгели, в опусе «Стихи в Харькове», я называю, к примеру, троих частых гостей, и более, чем гостей, — обитателей, харьковских пространств начала прошлого века:

Отчалил вдаль тридцатый день осенний,
тот день, где, синеглаз и сизокрыл,

читал стихи и бражничал Есенин,
где Хлебников пророчества бубнил.

Почил сентябрь, но скоро Маяковский
в пиджачной паре по Сумской пройдёт,
октябрьский громогласный гость московский,
огромный пленник собственных острот...

И вспоминая далее в этих же стихах о Мандельштаме и Мариенгофе, о Шенгели и Чичибабине, я по сути называю лишь ключевые камертонные имена, сохраняя при этом в своём внутреннем поле зрения всю эту славную плеяду из названных выше десятков имён, доподлинно ощущая всё это, «намоленное» раздумьями и поисками, образами и рифмами, ритмами и прасодиями, духовное пространство города, который, скажем прямо, вполне заслуживет сегодня намного больше того, чем реально располагает. Заслуживает так же, как и все родные земли Украины и России, так же, как и шестая часть земной суши, тоже навсегда не чужая душе, рождённой в её пределах в не столь давние годы.

В случае же с Харьковом, думаю, особенно правомерно говорить о не крикливом, но спокойно-величавом гении места. Говорить, конечно, без фанатизма, начинающегося на конкретную заглавную букву, но так же, как и в случае с другим большим творческим городом, строящим себя и своё внутреннее ядро, в смене поколений, на перекрёстках языков и культур, традиций и новаций. Существует ощущение того, что некая критическая масса честно и истово наработанного здесь духовного достояния уже просто-напросто не позволит явному и постыдному оскудению, ретиво прущему сегодня наружу, возобладать на сколько-нибудь долгое время:

Все были здесь и все слышны донине.
Озоном слов их — лечится душа.
Ползвук от святыни до гордыни.
И, взвешен во всемирной паутине,
так и живёшь — и каюсь, и греша...

Но не только нитями современной мировой паутины интернета и не только трассами прямых, — наконец-то! — авиарейсов связан Харьков с собеседниками, коллегами и единомышленниками из других славянских земель, государств, городов. Не теряются во времени и не теряют своего значения линии многовековых культурных и человеческих связей, прочерченные на исторической карте города. Так очень заметный вклад в развитие культуры и общественной жизни Харькова внесли на протяжении более чем трёх столетий представители ещё одного славянского народа — польского. Одна из улиц в центре города названа именем полковника Г. Донец-Захаржевского, который более 20 лет противостоял турецким войскам на рубеже Северского Донца ещё в 17 веке. Навсегда вошли в контекст истории города имена попечителя и одного из основателей Харьковского университета С. Потоцкого, живописца Г. Семирадского, поэта Л. Стаффа и драматурга Ю. Коженёвского, композитора К. Горского, фотографа и «отца украинского кинематографа» А. Федецкого, врача В. Франковского, имя которого носит ещё одна из харьковских улиц. В Харьковском университете учился в конце 19 века и будущий первый руководитель возрождённой Польши Ю. Пилсудский. В 1825 году Харьков посетил Адам Мицкевич, в память о его встрече с П. Гулаком-Артемовским на старом здании Харьковского университета установлена мемориальная доска. Здесь же, на Университетской улице, другим мемориальным знаком отмечена и память Северина Потоцкого. С 1991 года в Харькове работает Общество польской культуры, выпускающее ежемесячную газету на польском языке «Полония Харькова».

Действует в Харькове и Общество болгарской культуры им. М. Дринова и организованный им Центр болгаристики и балканских исследований. Ежегодно с участием Центра ко Дню славянской письменности и культуры проводятся международные конференции молодых ученых — Кирилло-Мефодиевские чтения. При Центре создана также обширная библиотека болгарской и сербской научной литературы и фонотека балканской музыки.

В топонимику харьковских улиц вошли и имена чешских воинов Людвика Свободы и Отакара Яроша, проявивших ге-

роизм в боях под Харьковом в 1943 году. А поэтические строки Георгия Шенгели и Владимира Мотрича, созданные в Харькове, несут на себе особый отпечаток адриатического хорватского генома, к которому причастны родословные обоих этих поэтов. Наверное, можно ещё долго и не без успеха продолжать поиски этих, то частных, то символически многозначительных, примеров соприкосновения и взаимодействия родственных культур, традиций, характеров и в контексте отдельно взятого большого города, и в более широком видении.

И потому возникновение именно на харьковской почве нового конкурса «Международной Славянской Поэтической премии» представляется мне и вполне логичным, и обнадеживающим событием. Честно говоря, не сомневаюсь, что это доброе дело будет крепнуть и наполняться всё новым содержанием. И название этого моего вступления к поэтическому сборнику участников Первого конкурса «Украина, Россия, Болгария, далее — везде» вполне способно в следующем подобном сборнике трансформироваться в название, к примеру, «Польша, Сербия, Чехия — поэзия жива!». Ибо и неодолимое внутреннее стремление человека к гармонии, и вступление в жизнь всё новых поколений талантливых и ищущих молодых людей — всё это неотъемлемые черты подлинного Господнего замысла. Так что — до новой встречи 24 мая уже нынешнего 2014-го года, в День Славянской письменности и культуры, когда начнётся приём рукописей нашего Второго конкурса. И до встречи — в Каминном праздничном зале 3 декабря, в день рождения философа-странника и поэта Григория Сковороды, когда прозвучат стихи новых лауреатов «Международной Славянской Поэтической премии».

СОДЕРЖАНИЕ

Апостольское число	3
--------------------------	---

«С ПЕЧАЛЬЮ РАДОСТЬ ОБНЯЛАСЬ...»

Переводы с украинского

Олександр Олесь

Голод	14
«С печалью радость обнялась...»	15
«Лебеди ль, гуси по небу плывут...»	15
«В Вас столько солнца золотого...»	16

Владимир Свидзинский

«Ударил дождь и покачнул...»	17
«Неодолимо нависла над мокрым окном...»	18
«Лицо зеркала мертвеет в тени...»	18

Михайло Драй-Хмара

«Я полюбил тебя той пятой...»	20
«Я мир вбираю страстью ока...»	21
«На серой стенке спичкою сожжённой...»	21

Микола Зеров

Чистый четверг	23
Великая пятница	24
Саломея	24
Вергилий	25
Партенит	26
Скорпион	26

Павло Филипович

«Минула ночь тревожно и бесславно...»	28
«Долу склоняется гневно...»	28

Михайль Семенко

Заплету косу покрепче	30
Гора Жёлтых Лилий	30
Огоньки по всей бухте	31
Патагония	31
Тёрен	32

Стишок разочарования	33
По дороге раздоров	33
Реплика	34
Городской сад	34
Туман выплывал. Мистерия	35
Евген Маланюк	
Варяжская весна	
1. «Обычный день Так что ж во мне отрада...»	36
2. «Она — скандинавка. В походе — дыханье фиорда...»	36
Из «Чёрной Эллады»	
1. «Руина. И фатум чумы и холеры...»	37
2. Памяти Петлюры	38
Сонет гнева и позора	38
«Ave Caesar, август певучий...»	39
Зима	39
Из вагона	40
Эхо	40
Города минувших дней	
5. «Посмертный день среди руин змеится...»	41
Отечество	42
Памяти Йоланы Кардош	42
Посвящение	43
Горькая весна	
1. «Так зреет тягостно весна...»	43
2. «Здесь не встретишь руин. Здешним склонам и долам...»	44
3. «День потемнел. И радость исчезает...»	44
«Уже кленовой кровью раны...»	45
«Не нужно мудрости — она тиранит синь...»	45
«Уже почти привык, что мне досталась...»	45
Памяти Т. Осьмачки	46
«Бледнеет Апокалипсиса зверь...»	46
N.N.	47
Ars Poetica	
3. «Вечно сжатый в пружину и хмурый...»	47
5. «Эллады сыны и сыны Иудеи...»	48
Думы	49
«Рассвет высок. Ещё земля прохладна...»	49
Евген Плужник	
«Я — как и все. И штаны — полотно...»	50
«Над морем на скале, на нерушимых кручах...»	50
«Гляди — внизу и море, и сады...»	51

«Молчи! Молчи! Я знаю, за словами...»	51
«Вошла, сияя, в море. Кто она...»	52
Богдан-Игорь Антоныч	
Крыши	53
Подковы	53
Черёмуха	54
Отрывок	54
Алхимик	54
Миф	55
Василь Мысык	
Рудаки	56
Хафиз	56
Рим	57
Спарта	58
Китс	58
Осень	59
Василь Боровой	
Судилище	60
Мир в слезе	61
«Не рыдай мене, Мати...»	62
Вспомнилось	62
Доля	63
«Жаринка, искра зверобоя...»	63
«Вывели из дому. Ой, не вернись!..»	64
Лина Костенко	
«Ты смотришь вслед. А я уже — на трапе...»	65
«Снега в снегах. Над речкой — льды литые...»	65
«Там есть, вдали, гора, где молчаливы птицы...»	66
«Не спорь, пустым словам не прекословь...»	66
«Не этим Днепром ли челны византийские плыли?...»	66
Василь Симоненко	
47-й год	68
Поэт	69
Можно	69
Я	70
Петро Осадчук	
«Те ясени, что мой отец сажал...»	71
«И гаснет тело. Тает, как свеча...»	71
«Снова день минувший подытожу...»	72
Владимир Затулывитер	
Теория крыла	73
Сосед по санаторию	74

Невесомость	74
Друзьям, молча	74
«Во всём — земля. И в брызгах чёрной грязи...»	75
Алхимия инея	75
Памяти Ояра Вацietиса	76
«Заточил карандаш...»	76
«Шёлковая ласточка любви...»	77
Счёт минут	
I. «Накатит волна ночная...»	78
II. «Течёт и течёт во мне мать, как река...»	78
III. «О чём им сегодня думается...»	78
Василь Голобородько	
Наша речь	80
Ивану.	80
Давней собеседнице	81
Виктор Бойко	
Из мгновений	82
«Порой хватает крохотки тепла...»	82
«Грохочут тягачи (в армейском цвете хаки)...»	83
Василь Моруга	
Автопортрет сквозь века	84
«Был глупым рыжий ласковый щенок...»	85
«Над сумерками властвовал минор...»	85
Каунасские колокола	86
Благодарность	87
Анатолий Перерва	
Сергей Васильковский	89
Добро	90
Игорь Рымарук	
Грешник	91
Вариант	91
«Зачем твой шёпот: не забуду...»	92
Рождество	92
Ирина Мироненко	
«Двадцать лет миновало...»	94
«Ближайшей ночью Украину накроет холода волна...»	94
Иван Малкович	
Ключ	95
Страна солнца	95
Сон со свадебным хлебом	96

И БОГ СКАЗАЛ: «ЖИВИ, ЕСЛИ ЖИВ...»

Переводы с белорусского, болгарского, боснийского, македонского,
польского, сербского, словацкого, словенского,
хорватского, черногорского, чешского

С белорусского

Рыгор Бородулин

«Больше мыслей — тревожнее сутки...» 98

«Идущие на смерть — да будут жить!...» 98

Аксана Спрынчан

«Создана...» 100

«Черчу...» 100

«Выбираю бульбу...» 101

С болгарского

Николай Лиливев

«Дождь, весенний каплепад...» 102

«Луч рассвета, перезвоны...» 103

Красимир Георгиев

По ту сторону реки 104

Из поэмы «Последний болгарин» 104

Елка Няголова

Подсолнух 105

Первый снег над Варной 105

Лора Динкова

Путь 106

Успокоение 107

С боснийского

Мак Диздар

«Сожму узду коня — под самую улыбкой...» 108

Гармонь 109

С македонского

Ацо Шопов

Прочтение пепла 110

Доброй ночи 111

Любовь 111

С польского

Адам Аснык

«Люблю тебя! О, это слово...» 112

Ян Каспрович

«И влюбилась душа моя снова...» 114

Леопольд Стафф

Надежда 115

Юлиан Тувим

Счастье 116

Вислава Шимборская

В аэропорту 117

Ладонь 117

К собственному стихотворению 118

Принуждение 118

Адам Загаевский

Блейк 120

Эмигранты 121

Философы 121

Поражение 122

*С сербского***Десанка Максимович**

Бранковина 123

Голоса ночи 123

О гречкосее 124

Владимир Ягличич

Элегия 125

Память о восстании 127

Озеро 128

Он 129

Хозяин 130

Тесла 131

Капуста 132

Стихотворения 132

В горах

10. «Как лёгок голос твой, осенняя цикада!..» 133

24. «Всё может быть поживою для глаза...» 134

Дары 135

Таз 136

Слабость 137

Бог сказал 138

Милость 139

Обоснование отсутствия 140

Разговор 140

Могила Волошина 141

Солнечное утро	142
Сад	143
Студенты	143
Дом Ильича	145
Межа	146
Бассейн	147
«Тёмным утром, когда наплывает замедленный дождь...»	148
 <i>Со словацкого</i>	
Андрей Плавка	
Слышанье	149
Отлёт ласточек	149
Павол Горов (Горовчак)	
Взгляд с высоты	151
Осень в городе	151
 <i>Со словенского</i>	
Лайзе Кракар	
Украденное сердце	153
Злодей на пенсии	153
 <i>С хорватского</i>	
Юре Каителан	
Уснувшая гитара	154
Кровь и буря	155
Ружица Циндори	
Сад	156
Кардиограмма тигра	156
Старость	157
Выставка	158
 <i>С черногорского</i>	
Душан Костич	
Заветная книга	159
 <i>С чешского</i>	
Витезслав Незвал	
Игра в кости	161
Носовой платок	162
Ярослав Сейферт	
Май	163
Лампочка	164

**ОЧЕРКИ
О ПОЭЗИИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ**

Строгое зерно Миколы Зерова.....	166
«Но Он-то даром срока не даёт...»	169
Днесь, данас	183
Украина, Россия, Болгария, далее — везде	192

Литературно-художественное издание

ШЕЛКОВЫЙ
Сергей Константинович

ДВНАДЕСЯТЬ

Поэтические переводы

В авторской редакции

Технический редактор: *Е. Онишко*
Компьютерный дизайн: *В. Носань*

Підписано до друку 08.05.14. Формат 60х84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Minion Pro. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 13. Зам. № 14-39.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів
видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.

Видання і друк ТОВ «Майдан»
61002, Харків, вул. Чернишевська, 59.
Тел.: (057) 700-37-30